Великолепный роман об искусстве, о музыке, о смысле человеческой жизни.

Жауме Кабре

Тень евнуха

Впервые на русском! От автора романа-откровения «Я исповедуюсь»!

ИЛ

Annotation

Роман выдающегося каталонского писателя Жауме Кабре «Тень евнуха» – смешная и грустная история сентиментального и влюбчивого любителя искусства, отпрыска древнего рода Женсана, который в поисках Пути, Истины и Жизни посвятил свои студенческие годы вооруженной борьбе за справедливость. «Тень евнуха» – роман, пронизанный литературными и музыкальными аллюзиями. Как и Скрипичный концерт Альбана Берга, структуру которого он зеркально повторяет, книга представляет собой своеобразный «двойной реквием». Он посвящен «памяти ангела», Терезы, и звучит как реквием главного героя, Микеля Женсаны, по самому себе. Рассказ звучит как предсмертная исповедь. Герой оказался в доме, где прошли его детские годы (по жестокой воле случая родовое гнездо превратилось в модный ресторан). Подобно концерту Берга, роман повествует о судьбах всех любимых и потерянных существ, связанных с домом Женсана.

Жауме Кабре
Тень евнуха

Jaume Cabré
L’OMBRA DE L’EUNUC

© А. Гребенникова, перевод, 2017
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017
Издательство ИНОСТРАНКА®

* * *

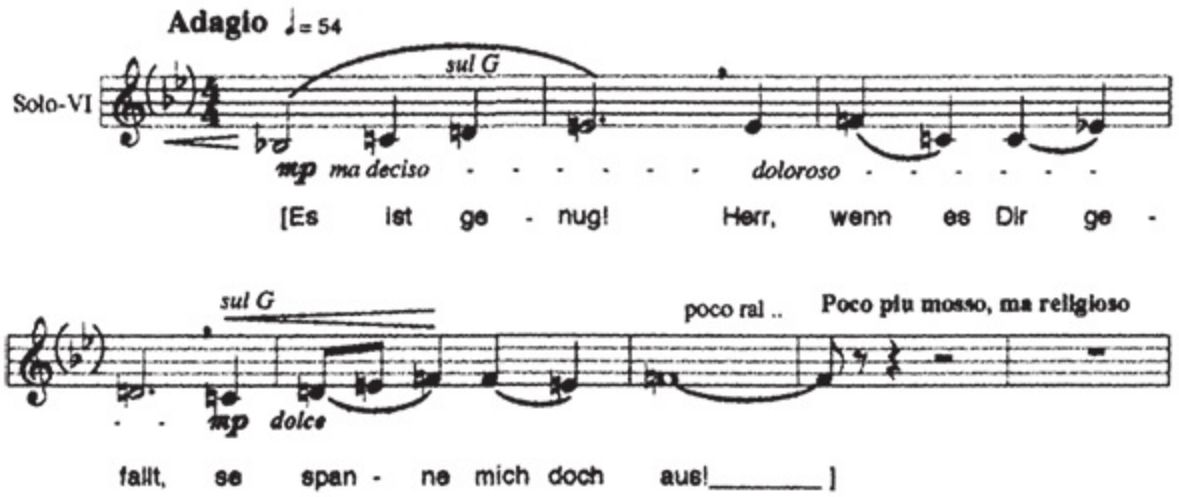
Маргарите

В твои годы мужчины – как волки, в глазах у вас – только время.

Жуан Маргарит

...for we possess nothing certainly except the past[1].

Ивлин Во



Альбан Берг

Действие первое. Секрет аориста

Часть I. Andante (Präludium)

1

Когда все уже осталось далеко позади, я, сидя напротив женщины с черными глазами и безупречной кожей, спросил себя: когда же в точности моя жизнь дала трещину? Этот вопрос пришел мне в голову несколько неожиданно, и я тут же переключился на Жулию, желая понять, о чем думает она. И украдкой взглянул на нее: она внимательно читала меню, все еще сомневаясь в выборе – филе или антрекот. Я посмотрел по сторонам, и мне сразу бросилось в глаза какое-то на редкость безвкусное убранство ресторана. Когда же все пошло под откос? Возможно, все началось много лет назад, после моего выхода из подполья, когда мне уже удалось привыкнуть к гражданской жизни; однажды осенью, той дождливой пятницей после обеда, – в дверь позвонили, и отец, против обыкновения, сам пошел открывать. Как будто ждал звонка. Потом мы сообща восстановили ход событий: он с кем-то разговаривал, стоя на лестнице. Кажется, он сказал нам: «сейчас приду», а может, не нам, а стенам, и больше мы его не видели. Лил дождь, а он вышел на улицу в домашних тапочках и без пиджака. Позже я укорял себя за то, что тогда не понял, как важен был тот звонок в дверь; немногие ключевые моменты, что выпадают в жизни, проходят незамеченными, и мы потом проводим остаток своего несчастного существования в бесполезных попытках их вернуть. Я жил тогда у родителей, потому что незадолго до того ушел от Жеммы.

Моя жизнь полна важных моментов, которые выскальзывают у меня сквозь пальцы, как рыбешки, пока я зеваю перед телевизором или разгадываю кроссворд. Сколько раз я просыпался, казня себя за то, что не могу забыть улыбку Терезы, когда она стояла в дверях отеля «Ритц». Не знаю, как вытравить из памяти это воспоминание: оно до сих пор заставляет меня плакать, словно в жару. Тереза улыбается мне перед светящимся фасадом отеля, а я стою в нескольких шагах от нее, в темноте, задыхаясь от бега. И вот она поворачивается и уходит, все еще улыбаясь тому, что я нем, как тряпичная кукла. Нет, сейчас я не хотел об этом думать. Я должен был сосредоточиться на меню и на категоричном решении Жулии: «мясо, какое-нибудь, и думай побыстрее, а то я очень есть хочу». Но ведь Тереза улыбалась перед отелем «Ритц», на Пиккадилли… В конце концов я решил заглянуть в меню. Оно было напыщенным и вычурным, как будто вместо повара его сочинял бульварный романист. А черные глаза и бархатный голос Жулии манили меня, как бездонный колодец, но, думал я, полюбить ее мне не дано: я очень устал.

А началось все несколько часов назад, когда Жулия предложила вместе поужинать: сказала, что никто, кроме меня, не сможет ей помочь. Или нет: вся завязка случилась еще утром на кладбище, во время похорон. С тех пор я и задумался о жизни. Скрываясь за стеклами темных очков, я стоял чуть в стороне от родственников, озадаченных этой внезапной смертью. Но Ровира все-таки узнал меня и тут же ко мне прилип. Выкурил полпачки «Кэмела» за душещипательной беседой. Там, на кладбище, еще до встречи с Ровирой, я внезапно осознал, что у меня никогда не хватит мужества опровергнуть официальную версию гибели Боло́са, согласно которой произошел прискорбный и необъяснимый несчастный случай. Никто, кроме меня, не знал про таинственное сообщение на автоответчике: «Симон, говорит Франклин, за нами следят», оставленное в среду вечером. Потом пришел четверг, и мне обо всем сообщили, а в пятницу, не успел я вернуться

с кладбища, позвонила Жулия с приглашением поужинать вместе.

Приятный кладбищенский ветерок напомнил мне горячий и страшный ветер, дувший на вершине Курнет-эс-Сауда. А я, несмотря на свое так называемое героическое прошлое, почти не раздумывая, решил спрятаться за темными очками и делать вид, что ничего не понимаю, и говорить: «да, да, не представляю, как могла произойти такая нелепая и страшная авария». И поспешно ушел, пока меня не разоблачил проницательный взгляд Марии. А потом позвонила Жулия.

– И что это за условие?

– Я сама выберу, куда мы пойдем, – сказала Жулия.

И я подумал: да какая мне разница, я тоже одинок, уныл, растерян, со страхом в сердце, не в силах думать ни о чем, кроме смерти Болоса. Какой же я все-таки трус – даже взгляда Марии на кладбище не выдержал.

– Хорошо. Согласен. Куда ты меня поведешь?

– Это сюрприз, скоро увидишь… Очень милый ресторанчик, недавно открылся. Нам очень о многом надо поговорить, Микель.

– О чем это?

– Обо всем. О Болосе. Мне нужно статью о нем написать.

– Статью?

– Тебе разве Дуран не говорил? Статью в память о нем.

– Да оставьте вы Болоса в покое!

– Ты чего? Тебе не нравится эта идея?

– Да нет, все в порядке. – И, не найдя, что еще сказать, я добавил: – Нет, правда.

Я никогда не умел врать, и Жулия все поняла с лету:

– Ты против.

– Да нет, что ты. Но разве ты о нем много знаешь? О Болосе?

Теперь замолчала Жулия, и я почувствовал, что это неспроста, она тоже не слишком-то хорошо умела врать.

– Ну, я посидела в библиотеке, в отделе периодики, почитала старые статьи, все такое. А что? – Пауза, неловкая для нас обоих. – Но мне не хватает информации о его юности, а ты… – Она откашлялась. – Значит, да? – И чтобы я больше не раздумывал: – Это очень красивый ресторан, там отлично готовят мясо, а тебе нужно развеяться.

Доводы ее были неоспоримы, и я ответил: «Хорошо, я в твоем распоряжении». Ведь это лучший способ не лежать на диване в темноте, не думать о Терезе, о Болосе, о себе, снова о Терезе и о том, как меня напугал хриплый голос на другом конце провода, который угрожал мне, словно не зная, что нет худшего наказания, чем всю жизнь хранить память о мокром полотенце и лампочке в двадцать пять свечей. И о Терезе.

Жулия заехала за мной в восемь и, вместо того чтобы сесть в машину, с заговорщической улыбкой протянула руку – хотела, чтобы я дал ей ключи от машины. Она все-таки решила сделать мне сюрприз. Никогда не мог устоять перед женской улыбкой, даже если от этого зависит моя жизнь. Я вручил ей ключи – пусть везет меня куда хочет – и тоже улыбнулся, но как-то неуверенно: не люблю, когда мою машину ведет кто-нибудь другой, а я сижу рядом. К тому же я знал, что Жулия, беспокойный и страстный водитель, всю дорогу будет оживленно жестикулировать, забывая про руль, резко переключать передачи, вздыхать и время от времени почти нехотя следить за дорогой. Короче говоря, я приготовился к мучениям, и мучиться мне пришлось довольно долго, поскольку оказалось, что этот милый

ресторанчик находится вовсе не в Барселоне. На выезде с проспекта Меридиана машин было не очень много, но я вжимался в сиденье при виде того, как Жулия постоянно и без всякой надобности, почти что в поэтическом беспорядке, лавирует между рядами. Ну что ж, по крайней мере, это отвлекло меня от грустных мыслей.

– Не скажешь, куда мы едем?

– Не скажу. Какая тебе разница, где платить за ужин?

– Если это деловой ужин, пусть Дуран платит.

– Он не согласится.

– Я с ним поговорю.

Она положила мне руку на колено и не стала убирать. Неужели это я? С Жулией?

Мы уже ехали по шоссе на Фейшес[2], движение там было куда плотнее: многие хотели поскорее выбраться из Барселоны на выходные. Сдается мне, что сидел я с самым глупым видом, разомлев от нежности Жулии и глядя перед собой на прерывистую линию, на которую она то и дело наезжала, должно быть придавая себе уверенности.

– У меня будто душу вынули…

– У меня тоже.

– Да уж, два сапога пара.

– Это будет ужин в память Жузепа-Марии.

– Какого Жузепа-Марии?

– Болоса. – И с очень наигранной переменой в голосе: – Что за водители пошли?! Видел, что творят?

– Болос был моим лучшим другом, – сказал я. – Может, тебе лучше вернуться в свой ряд?

– Ну Микель… Не начинай, ладно?

Мы замолчали, я стал смотреть на каменистый берег реки Риполь – единственное, что было видно из окна, – и постарался на несколько минут забыть о том, что Жулия не имела обыкновения двигаться вместе с потоком.

– Ты знаешь, что мы подъезжаем к моему родному городу? – сказал я, намереваясь прервать молчание, длившееся уже четыре с половиной километра.

– Правда? Я не знала. Ты разве не из Барселоны?

– Нет. Я там давно живу. Но родился и вырос я в Фейшесе.

– Вот это да!

Еще восемьсот метров молчания.

– Ну надо же.

Я ласково потрепал ее по щеке, в ответ она резко сменила ряд.

– Слушай, нет ничего страшного в том, что я родился не в Барселоне.

– Просто неожиданно. Наверное, трудно начинать жизнь на новом месте.

– Но у меня, видишь, неплохо получилось.

Сабадель остался справа, а мы все ехали вперед.

– У тебя кто из Фейшеса – отец или мать?

– Отец, деды и бабки, прадеды и прабабки. Предки моего отца поселились в Фейшесе много веков назад.

– Ничего себе.

– В смысле?

– В смысле – ничего себе.

– Вот такие дела. Если у тебя хватит терпения, могу как-нибудь показать наше

генеалогическое древо. У меня оно есть, очень хорошо нарисованное. Мы были семьей с прошлым и им гордились.

– Были?

– Ну да, были.

– И у меня так же. Я знала только одного деда, и за то спасибо.

– А у меня до недавнего времени был дед – то есть двоюродный дед. Дядя Маурисий. Очень своеобразный человек.

– Почему?

– Потому что. Ему было сто тысяч лет, он никогда ни о чем не забывал и был совершенно безумен. – Я посмотрел на Жулию краем глаза, чтобы убедиться, что ей интересно то, о чем я говорю. – Дядю считали паршивой овцой.

– То есть он эмигрировал в Америку, потом вернулся и все такое?

– Нет. Просто все его ненавидели.

– А ты?

– А я – нет.

Жулия с интересом глядела на меня, сворачивая при этом с шоссе, не включив поворотника.

– Познакомишь меня с ним? – спросила она, не обращая внимания на то, что машина, ехавшая перед ней, затормозила.

– Он умер. – Мы вовремя затормозили, как раз в тот момент, когда у меня похолодело в животе. – Давай поедем помедленнее.

– Что?

– Понимаешь, все, что мне известно о семье, я узнал благодаря собранным им бумагам. Всем в мире бумагам. Он знал все.

– Прямо-таки все?

– Ну да. В каждой семье есть человек, который хранит память.

– В моей такого нет. Я даже не знаю, можно ли нас назвать семьей. – И, уже заехав в переулок, она добавила: – Кажется, правильно повернула.

– Да как сказать… Там был «кирпич», но для тебя ведь это не препятствие.

– Черт, где он был?

– Да мы проехали, – почти шепотом проговорил я, едва переводя дух. – Не волнуйся, здесь уже двустороннее движение.

– Знаешь, я уже проголодалась. – Ей явно хотелось проехать на красный свет, но в последний момент она под громкие и продолжительные аплодисменты моего законопослушания затормозила. – Сейчас уже будем на месте, если, конечно, я не заблудилась.

Я не воспользовался случаем рассказать, что последний год жизни дядя Маурисий провел в сумасшедшем доме и что я любил его, несмотря ни на что. Не стал говорить, что он был единственным моим родственником, кроме матери, с кем я неторопливо и подолгу беседовал. Я не знал, смогу ли когда-нибудь рассказать все это Жулии.

Когда я понял, что происходит, Жулия уже парковалась у входа в ресторан. Она крутила баранку, высунув язык, и так старалась не задеть стоявшую впереди машину, что даже не обратила внимания на мое внезапное молчание.

– Это и есть тот самый ресторан?

– Угу. – Вздох облегчения. – Ну как тебе?

– Ты прекрасно паркуешься. Так это и есть тот ресторан?

– Ну да, я же уже сказала.

Я предпочел промолчать. Когда я вышел из машины, ноги у меня дрожали. Было еще довольно светло, стояло лето. Я не удержался и посмотрел на земляничное дерево – оно здорово выросло, и его сильно подстригли. Я подошел к нему поближе, но не услышал слов, сказанных дядей Маурисием в его последнем, таком длинном письме. Солнечные часы одиноко висели на стене, у которой когда-то рос розовый куст; солнце уже зашло, куст давно срубили, а ветвями берез нежно играл ветерок. На первый взгляд все было на своих местах.

– Ну как тебе?

Жулия обвела широким жестом здание, как рыбак, что только что поймал судака и желает его продемонстрировать. И что я должен был ей сказать? «Да, моя милая Жулия, мы только что приехали прямиком ко мне домой, в дом Женсана, туда, где я родился, где вырос, где плакал и мечтал. В дом, из которого я сбежал, когда пришло время. Прошло уже несколько лет с тех пор, как матери вдруг сообщили, что она должна съехать отсюда, что дом ей больше не принадлежит. Тогда все мы чуточку сошли с ума, ведь после того, как отец ушел из дома в тапочках, оставив нас с кучей долгов, неоплаченных счетов и обид, не хватало только, чтобы мы вдруг лишились и воспоминаний. И вот тогда-то дядя Маурисий и ухватился за розовый куст. Родовое гнездо семьи Женсана, с тысяча семьсот девяносто девятого по тысяча девятьсот девяносто пятый год. Почти два столетия документально подтвержденной истории»? Я прямо как Мартин Арагонский[3]. Покойся с миром, дом Женсана, я не смог спасти тебя, и ты превратился в какой-то нелепый ресторан, который, к вящему позору, еще и назвали «Красный дуб», как значилось на вывеске с претензией на высококлассный дизайн.

– Держи ключи, Микель.

– Мм?

Я с трудом пробудился от грез и пошел за ней. Три ступеньки, площадка, еще две ступеньки. На стекле входной двери – наклейки «Виза», «МастерКард» и «Американ экспресс» – куда уж хуже! Неизвестно откуда взявшийся человек с улыбкой метрдотеля пригласил нас войти в мой собственный дом.

– У нас забронирован столик, – сказала Жулия с легкостью завсегдатая.

– Нет! – испуганно возразил я.

– Да, да… – очень терпеливо, по-учительски, уверила меня Жулия, обезоруживающе улыбаясь. И снова обратилась к метрдотелю: – На имя Микеля Женсаны.

И подмигнула мне – она всегда обращала внимание на такие практические мелочи. И на несколько мгновений, несмотря на ситуацию, я подумал: а почему бы мне не влюбиться в нее, да и дело с концом. Но это не так легко, когда столько всего в голове – в первую очередь, конечно же, Тереза, но еще страх и беспокойство, снова разбуженные телефонным звонком человека с хриплым голосом.

– Что с тобой? Тебе здесь не нравится?

Я не стал отвечать, потому что метрдотель энергично приглашал нас пройти к столику. Мы шли за ним, обходя еще пустые столики, стоящие в моей гостиной, в моей столовой и, увы, даже в библиотеке – все это самым беспардонным образом было превращено в один зал. И я почувствовал горячее дыхание Жулии, когда она шепнула мне: «Микель, я попросила, чтобы для нас приготовили волшебный уголок – возле нежно журчащего фонтана».

Я почувствовал себя глубоко оскорбленным, увидев, что в углу библиотеки, где всю

жизнь возле старинных книг прадеда Маура, поэта, стоял рояль дяди Маурисия, установили этот жалкий фонтанчик. Я уже был готов вызвать метрдотеля на дуэль, но отвлекся, увидев, как он изысканным жестом пододвигает стул Жулии и вежливо кивает ей, не обращая на меня ни малейшего внимания. А потом ушел – по всей видимости, за подкреплением. И я не успел бросить ему перчатку.

– Тебе что, здесь не нравится? А, Микель?

– Да нет, нравится.

– Просто у тебя такое лицо… Они изумительно готовят мясо.

– Значит, надо будет его попробовать.

И мы принялись читать меню. Ее заинтересованности хватало на двоих, и я тут же отвлекся на дуб, служивший ресторану эмблемой: широкий и мощный, с претензией на сходство со старинной гравюрой. Он напомнил мне раскидистое, как дуб, генеалогическое древо семьи Женсана у нас дома, разложенное на коленях у бабушки Амелии. Или у дяди Маурисия, в психиатрической клинике. Все еще твердой рукой он указывал мне, какое место должна занимать тетя Карлота, его настоящая мать, чья жизнь была похожа на романтическую поэму. Или прадед Маур, поэт. Или прапрабабушка Жозефина… А еще дядя обещал составить другое, Подлинное и Доселе Неизвестное Генеалогическое Древо Семьи.

– Правда, хорошее у них меню?

– Да… – Я поглядел на блюда. – Тут, я вижу, всего понемногу.

– Мясо.

– Что?

– Здесь ты просто обязан есть мясо.

Что-то я не мог припомнить, чтобы у меня дома кто-то что-то обязан был есть, как будто мы иудеи или наступила великопостная пятница. Сдержать не совсем уместную улыбку не получилось. Жулия приняла ее за упрямство дилетанта в кулинарном искусстве и с серьезным видом подняла вверх палец:

– Мясо.

– Ладно, пусть будет мясо.

Насколько я понял из меню, несмотря на дурацкое название заведения, эти ресторанные идиоты задумали превратить его в модное место для продвинутых людей, таких как Жулия и ее невыносимые друзья.

А мне, несчастной жертве, что было делать? Я был охвачен воспоминаниями и думал: ах, если бы жизнь можно было изменить, если бы только можно было предвидеть, к чему приведут поступки и решения; если бы можно было переиграть ход, прокрутить все заново, анализируя: в чем была наша ошибка, где все пошло наперекосяк… Впрочем, быть может, истина стала бы невыносимым мучением. Или ступенькой к цинизму.

– Может, это к лучшему: не видеть дальше собственного носа.

– Что? – Жулия взглянула на меня как на сумасшедшего.

– Извини… Просто я…

– Да… – Она опустила глаза и вновь на меня посмотрела. Глаза у Жулии очень красивые. – Ты в порядке?

– В полном, – выдал я желаемое за действительное, титаническим усилием воли натянув на лицо беззаботную улыбку.

Жулия наблюдала за мной с некоторым беспокойством. Она хотела что-то сказать, но решила промолчать. Мне пришлось это очень кстати, потому что в тот момент я задумался о

том, что привело к гибели Болоса. Непонятно, когда именно я должен был начать действовать иначе, чтобы теперь не винить себя в его смерти. Я думал о том же, о чем размышлял на кладбище, о безысходности на лице Марии, вдовы Болоса, и о том, что я сам себе противен. А потом ко мне подошел Ровира, и мы начали разговаривать о тысяче других вещей. Но глубоко внутри меня терзали угрызения совести из-за того, что я струсил, – ведь я-то знал, я-то знаю, от чего умер Болос. Возможно, об этом знают только два человека – убийца и я. И возможно, еще Голубоглазый. А я все прятался за темными очками, пока не пришел Ровира и не заставил меня говорить о женщинах, единственной для него теме разговора с тех пор, как сто лет назад он снял с себя монашеский сан.

– Я возьму филе-миньон, – сделала выбор Жулия, махнув на меня рукой. Она казалась довольной своим решением. – А ты?

Я как раз начал приходить к заключению, что за сорок восемь лет своей жизни я так и не научился избавляться от глубоко укоренившихся, хронических угрызений совести даже под страхом смерти. Не говоря уже о промокшем полотенце и лампочке в двадцать пять свечей. Всю жизнь я начинал и заканчивал один этап за другим, всегда с отрицательным сальдо для своей души. А ведь я уже сто лет как не верил в Бога.

– А теперь ты хочешь, чтобы я рассказывал тебе о Болосе.

– Да, но сначала посмотри меню.

– Ты торопишься?

– Нет, не тороплюсь.

– Дело в том, что рассказывать о Болосе – значит рассказывать о себе.

– Ну да. Расскажи о том времени, когда вы много общались.

Я с неохотой взглянул на меню. Разве можно объяснить все это Жулии?

– Что-то у меня настроения нет.

Теперь Жулия посмотрела на меня так, будто собиралась как следует отчитать. Мне стало не по себе: ничто не страшит меня так сильно, как женский гнев.

– Ты можешь выбрать хорошее мясное блюдо или нет? – И с обидой: – Мне тоже невесело, но я держусь.

– Ты же близко не общалась с Болосом.

Она положила меню на стол и вперила в меня свои угольные глаза:

– Ты что, не в состоянии со мной поужинать? Ты не в состоянии помочь мне написать статью о твоем друге?

– Конечно в состоянии. Я…

– Конечно. Ты. – Она снова превратилась в ту Жулию, знакомую по работе, рожденную, чтобы командовать, но вынужденную быть моей подчиненной. – Я изо всех сил старалась, нашла стильное место, забронировала столик, отложила все дела…

Я и не подозревал, что все так серьезно. А потому решил хорошенько изучить меню, как мальчик, знающий, что суровый взгляд учителя вот-вот раздавит его в лепешку. Жулия молчала, ее, казалось, раздражала моя апатия.

– Я возьму треску.

– Но ведь… – В голосе Жулии звучал не то чтобы протест, а священное негодование. Она стала похожа на Жанну д’Арк. – Ведь я же тебе сказала, здесь очень хорошее мясо!

– Тогда мясо. Точно – мясо! – И я повторил это метрдотелю, который уже вырос как из-под земли с блокнотом наготове и недоверчиво на меня поглядывал.

– Какое именно мясо, сеньор?

– Не знаю… – И, совершенно не раздумывая: – Вот это, под двумя соусами. Вы уже приняли заказ у дамы?

– Да, сеньор. Несколько минут назад.

По-моему, это совершенно неуместный комментарий.

Переговоры длились долго. Но нам удалось разработать удовлетворяющее обе стороны, а главное, подходящее Жулии меню. Когда метрдотель, записав все до мельчайших деталей (с кровью, не солить, салат «Монпансье» без лука), удалился со своим блокнотом, который почему-то напомнил мне книжечку с бланками для выписывания штрафов, Жулия впилась в меня глазами:

– Ну, о чем ты думаешь? Рассказывай!

– Все дела отложила! Выдумаешь тоже…

– Слушай, не притворяйся. О чем ты думаешь?

Мне так хотелось плакать, что я рассмеялся, протянул руку через стол и погладил Жулию по щеке. Жулию, умную, энергичную, с угольно-черными волосами и глазами, с нежной кожей, молодую, оскорбительно молодую. Совершенно мне незнакомую, потому что мы никогда не говорили по душам. И это хорошо – значит она не поймет, что я живу, не в силах ни на что решиться, что я, хоть и старше ее на двадцать лет, на самом деле несравнимо древнее, потому что на меня накатывают ностальгия и угрызения совести, а мысли о смерти поселились у меня в мозгу навсегда, покрыв его тонкой пленочкой. А это значит, я уже не молод. Все это очень трудно объяснить такой девушке, как она. И тем более невозможно сказать ей: видишь этот ресторан, Жулия? Здесь был мой дом. Там, где мы сидим, стояли старинные книги моего прадеда-поэта. Маур Женсана – тебе знакомо это имя? Правда незнакомо? А ты знаешь, что твой обожаемый метрдотель усадил нас посреди фамильной библиотеки? Да-да, этот волшебный уголок раньше был библиотекой. И этот… даже не знаю, как его назвать… фонтанчик расположен на том самом месте, где стоял салонный рояль моего дяди, и это не что иное, как пощечина хорошему вкусу нашей семьи. Нет, я не мог сказать ей все это – мне совсем не хотелось умереть со стыда. Но нужно было что-то предпринять, чтобы защититься от взгляда Жулии.

– Как-то раз, – загадочно начал я, – я влюбился.

– Мм? – Она удивленно подняла голову.

– Да. Это было в пассаже. Я шел вверх по эскалатору. А она ехала вниз по другому. Высокая, светловолосая, невероятно красивая. Она была прекрасна, понимаешь?

– Хм…

– Мы посмотрели друг на друга. Она пронзила меня взглядом, я был сражен. И мы проехали друг мимо друга.

– А потом что?

– Мы оба обернулись. Меня опьянил аромат ее духов. И она снова пронзила меня взглядом.

– И кто же она? Мы с ней знакомы?

Я взял кусок хлеба. Мне почудилась мечтательность в ее взгляде.

– Я больше никогда ее не видел. Это было мимолетное чувство.

– Зачем ты мне об этом рассказываешь, Микель?

Зачем? Да затем, что мне худо. Мне предстоял ужин с девушкой, в которую я слегка влюблен и которая, насколько я знал, кокетничала с несколькими мужчинами сразу. Я никогда раньше не вел с ней личных и доверительных разговоров. Нет – было бы совершенно

невероятно оказаться с ней в постели. Я рассказал эту историю для разминки, потому что я очень застенчив. Потому что я только что похоронил Болоса, а этот фонтанчик посреди библиотеки совершенно нелеп. Он ровно там, где дядя Маурисий, до того как его отправили в психушку, проводил долгие вечерние часы, листая книги, перебирая семейные бумаги, играя на рояле Момпоу[4] или Баха. Или складывая фигурки из бумаги. Я был взволнован, потому что как чужак, инкогнито собирался поужинать в своем собственном доме, который был родовым гнездом семи поколений Женсана, где жили и умерли дед Тон, и прадед Маур, и все прабабки, где родился мой отец, где родился и вырос я и откуда дважды сбегал… Я находился в пространстве, которое было частью моей самой личной и сокровенной жизни. В пространстве, наполненном для меня воспоминаниями.

– Тебе нравится здесь, Жулия?

– Да, очень. – Она уже успокоилась. – По-моему, миленькое местечко.

Так, значит, мой дом – миленькое местечко. Двести лет семейной истории, начиная с Антония Женсаны-и-Пужадеса, официального основателя нашего рода согласно генеалогическому древу, где он фигурирует как Антоний Женсана Первый, Прародитель, до меня, с конца восемнадцатого века и до конца двадцатого, семь поколений семьи Женсана, украсивших свой особняк и обогативших историю, давших фундамент этим стенам, после продолжительных усилий достигли того, чтобы их обитель признали «миленьким местечком». Уму непостижимо.

– Да, действительно, очень милое. Ты не знаешь, раньше это был жилой дом?

– Сомневаюсь… Разве ты не видишь? В таком доме совершенно невозможно жить.

– Ты думаешь?

– Конечно, ты что! Рано или поздно захочешь выбраться из этих стен, сбежать от здешних призраков. К тому же раньше здесь, наверное, было ужасно холодно.

В этом она была права. Жулия продолжала:

– То есть если здесь кто-нибудь и жил, то, скорее всего, это были какие-нибудь чудаки и наполовину зачахшие мамонты.

И в этом она тоже была права. Я решил, пусть она дальше излагает свои идеи.

– А ты знаешь, что я знакома с хозяевами?

– Неужели? – насторожился я. – С какими хозяевами?

– С хозяевами ресторана. Ты знаешь Майте Сегарра, которая замужем, то есть была замужем, за Маноло Сетеном.

– Так сразу и не соображу.

– Да я уверена, что ты их знаешь. Он дизайнер. Не может быть, чтобы ты не…

Я зажег сигарету, пока думал, о ком она там говорит. Жулия, как сорока, набросилась на зажигалку Айзека Стерна[5]:

– Какая красота!

– Старинная вещь.

– Но очень красивая. Откуда?

– Ну конечно! Сетен, дизайнер!

– Видишь, я так и знала, что вы знакомы, – радостно вернулась к предмету предыдущего разговора Жулия.

– И как же ему пришло в голову открыть ресторан?

– Наверное, заскучал. Да и потом, я уверена, он делает на этом немалые деньги.

Я проследил, чтобы Жулия положила зажигалку на место, рядом с пачкой.

– Пока что тут почти пусто, – сказал я, заполняя паузу.

– Мы просто рано приехали. Если хочешь, я потом познакомлю тебя с Майте.

Я смотрел, как Жулия жует кусочек хлеба. Такие белые зубы; сколько раз мне хотелось ее поцеловать. Жаль, что в жизни не следует рассчитывать на чудо.

Я давно знал, что чудес не бывает. Я не раз приходил к различным выводам, всегда предварительным, о том, что есть жизнь и смерть. Или, например, что отличает людей от животных – это желание человечества оставить после себя след; люди с незапамятных времен из кожи вон лезут, чтобы коснуться вечности, хотя это и невозможно. Различными путями – начиная с наскальных рисунков и кончая такими несколько более замысловатыми вещами, как религии. Включая навязчивую идею о продолжении рода и о бессмертии собственных произведений. За все время своего существования человечество выработало всего три способа достижения бессмертия: дети – самый распространенный, религия – самый респектабельный и искусство – самый изысканный. Но что делать такому неверующему и бесплодному человеку, как я? Скорее всего, именно поэтому мне так интересна музыка, которую пишут одни и играют другие; поэзия, написанная незнакомым мне человеком, но способная задеть меня за живое; живопись, которую я не умею ни создавать, ни копировать. Вероятно, именно по этой причине я плачу под музыку Мендельсона и немедленно отправляюсь к какой-нибудь женщине, чтобы она осушила мои слезы. А когда слушаю своего любимого Альбана Берга, никто в мире не может утолить мою боль. Мало людей, способных это понять. Мне очень жаль, что я не музыкант, не художник и не поэт. Я просто-напросто никудышный дилетант, очень чувствительный, разумеется, но неспособный творить. Когда я был маленьким, я плохо учился в школе. Рамон, мой двоюродный брат, задирал передо мной нос, хвастая своими оценками, всегда отличными. В двадцать четыре года он стал инженером текстильного производства и принялся помогать моему отцу гробить фабрику. А я отучился в старших классах, на физико-математическом потоке, и с горем пополам сдал вступительные экзамены в университет. Потом я решил учиться на гуманитарном факультете, но воодушевился не парадигмами глагола и не этажами базилик, а всякого рода заседаниями и комитетами, маем 1968 года и многими другими вещами. Я бросил университет, недоучившись, потому что революция не терпела отлагательств, а Берта была очень хороша. Но когда закончилась война, а Франко умер в собственной постели, я снова влюбился. Наш брак с Жеммой продлился два года, два месяца, двадцать один день и тринадцать часов. Вернувшись домой, к молчаливой и грустной матери, и спросив себя, нужно ли что-то начинать сначала, и если да, то что именно, я осознал, что мне двадцать семь лет и мы с отцом давно не разговариваем. А композитор Хуан Кризостомо де Арриага[6], которого называют испанским Моцартом, умер в двадцать лет. Я чувствовал себя старым как мир и совершенно лишенным душевных сил. Вместо того чтобы купить билет и уехать в Индию за какой-нибудь странной лихорадкой, вместо того чтобы начать сумасшедшую гонку за вниманием благосклонных подруг, я купил абонемент во Дворец музыки и решил, что пусть другие живут своей жизнью, и от души пожелал им удачи. Пятый ряд партера, в самом центре. Я начал усердно заниматься, еще больше читать и сделался поклонником красоты. Сейчас, по прошествии многих лет, есть люди, которые думают, что я много знаю. Смешно, но это так.

– Что рассказать тебе о Болосе?

– Что-нибудь. Что-нибудь личное. Про его молодость.

– Вы ведь не были знакомы, так?

– Были, конечно. Ты сам нас и познакомил. – Она огляделась по сторонам, как будто не хотела больше ни с кем делиться этим, пристально посмотрела на меня и спросила: – Что чувствуешь, когда умирает такой близкий друг?

– Откуда ты знаешь, что Болос был мне близким другом?

– Что ты чувствуешь?

– Ты не знаешь, какое при этом чувство? – Я посмотрел на нее краем глаза и подумал, что она еще очень молода. – У тебя еще ни один друг не умирал?

– Нет. У меня нет друзей.

– Да ладно!

– Правда. Только коллеги и хорошие приятели. – И шепотом: – И любовники. Что при этом чувствуешь?

Я надолго задумался. Очень надолго. И ответил, не глядя ей в глаза, потому что мне показалось, что передо мной Тереза:

– Ничего не чувствуешь, Жулия. Просто плачешь.

2

«Я родился в Фейшесе в 1905 году, от гражданина Франсеска Сикарта и гражданки Карлоты Женсаны. Так как из весьма незначительного состояния, разделенного между тремя детьми, отец мой получил ничтожную долю, то существовал он исключительно ремеслом часовщика, в котором был очень искусен. Богаче была моя мать, сестра выдающегося поэта Маура Женсаны Божественного и дочь депутата парламента Антония Женсаны Второго, Златоуста. Она была одарена умом и красотой. Не без труда добился отец мой ее руки. А я почти не помню ее лица»[7].

Мне кажется, это достойное начало для письма, за которое я взялся, когда ты, Микель Женсана Второй, Нерешительный, уехал на несколько недель в одно из своих путешествий. И пишу я тебе потому, что скоро умру, незаметно и без свидетелей, как все мужчины в нашей семье. Единственная неправда в этом вступлении, позаимствованном у Руссо, – профессия моего отца. Во всем остальном, Микель, будь мне судьей, если захочешь.

Ты родился тридцатого апреля тысяча девятьсот сорок седьмого года. К тому моменту у меня во взгляде уже проскакивала ненависть, напряженная, как рыболовная леска с пойманной рыбой: натянутая и тонкая, но такая крепкая, что в умелых руках может стать орудием убийства и отрезать голову. В то время я уже был Маурисием Безземельным, Изгнанником, который не будет владеть ничем, как и ты. Когда ты родился, у тебя были светлые волосы и голубые глаза. А я подносил палец к твоей ладошке, и ты изо всех сил зажимал его в кулачок. Тогда-то я и понял, что, раз ты так крепко за меня держишься, судьбу своего брата ты не повторишь. Ты стал третьим Микелем в моей жизни. Родители назвали твоего брата Микелем, чтобы их не мучила совесть. А когда родился ты, повторили этот ритуал. Похоже, это имя – единственная победа, которую я одержал в этой семье, в лоне которой мне настало время умереть. Но чтобы тебя окрестили Микелем, нужно было нанести моей единственной и вечной любви смертельный удар.

В тот день, когда ты родился, в саду у дома Женсана пахло влажной землей. Это была самая дождливая весна из всех, что помнит Фейшес за целый век. Запах сырой земли, один из самых древних свойственных садам ароматов, обволакивает мои воспоминания, и он связан с твоим рождением. Сад был роскошен, великолепен, и каждый стебелек в нем рос и

радовался невиданным дождям. Твой отец, любитель красивых и бесполезных жестов, велел посадить у входа в дом земляничное дерево. Пере не знал, что связывать жизнь человека с деревом неосмотрительно. Но я не смог помешать ему, смирился и стал считать земляничное дерево частью твоей жизни. В тот вечер, когда его посадили, я вышел в сад, выкопал ямку возле куста и, словно новый цирюльник царя Мидаса, доверил ей тайну своей любви, пока эти слова не унес ветер. Может быть, потому-то сейчас у меня и хватает мужества признаться. Хотя, возможно, тебе их когда-нибудь уже шептали листья в закатном свете.

Мужчины в этой семье меня ненавидели. Все, кроме твоего отца, который в молодости был мне задушевным другом. Женщины, напротив, всегда уважали меня и понимали, что единственное счастье, мне еще доступное, – это музыка Момпоу, Сати и Дебюсси. И когда я сидел за роялем, они не закрывали дверь библиотеки, как это делал с презрительной гримасой твой дед Тон, Антоний Третий, Фабрикант, чтоб ему пусто было.

Не хочу, чтобы сержант Саманта нашла у меня тетрадь тетушки Пилар. Я спрячу ее под листами бумаги, из которых складываю фигурки. И, вернувшись из своего бессмысленного путешествия неизвестно куда, где будешь брать интервью непонятно у кого, ты найдешь ее среди бумаг, оставшихся после моей смерти.

Не знаю, стоит ли сейчас рассказывать Жулии о дяде, подумал Микель.

3

В истории Микеля Женсаны Второго есть множество важных моментов, главную роль в которых играют женщины. Вот и теперь я сижу перед Жулией, которая хочет, чтобы я рассказал ей о Болосе. А что бы я ни сказал о Болосе, придется говорить о себе, обнажаясь до такой степени, какую и представить себе нельзя. Потому что я храню Болоса в одном из уголков своей души, и Ровиру тоже, как бы причудливо жизнь нас ни разъединяла и ни соединяла снова, терпеливо ожидая, когда принесут на закуску оливок. Как же у меня дома все медленно! Когда этот дом еще был моим и я жил в нем, мне больше всего нравилось от него отдаляться, делать вид, что это величественное здание не имеет к моей жизни никакого отношения. Этим и объясняются мои попытки бежать. Но в школьные годы он все-таки был мне дорог. Самым главным в одиноком детстве Микеля были походы из дома в школу и из школы домой, книги дяди Маурисия и мечты. Поэтому я очень хорошо помню все немногие ночи, проведенные вне дома Женсана.

В автобусе мы ехали шумно, как и полагается, сердя водителя и кидая намеки отцу Романи, который сидел на переднем сиденье, на которое теперь, двадцать лет спустя, обычно садятся экскурсоводы и с микрофоном в руке рассказывают: «Обратите внимание, справа – храм Святого Семейства, проект всемирно известного архитектора Антонио Гауди», – и турист с кожей цвета вареного омара рассеянно фотографирует недостроенный храм: «До чего же древняя штука, наверняка римских времен, правда, май дарлинг?[8] И Гауд-Ди этот, должно быть, из Карфагена». А у «май дарлинг» мысли далеко: она думает о сливочном мороженом и никак не вспомнит, какой оно было фирмы, «Ками» или «Фриго». И экскурсовод говорит: «Двадцать лет назад здесь, в этом самом автобусе или в каком-то очень похожем, но более раздолбанном, Микель Женсана Второй, Мыслитель, его неразлучные друзья Ровира и Болос и еще сорок бравых парней из шестого класса иезуитской школы на улице Касп ехали в дом молитвы в Эльс-Осталетс[9]. Они были счастливы, потому что целых

три дня никто, даже учитель математики, не будет ни требовать с них домашнее задание, ни мучить контрольными, ни ругать за шум в коридоре. «Не следует забывать, что эти три дня посвящены молитве, и для вашей дальнейшей жизни гораздо важнее те решения, к которым вы можете прийти за эти три дня, чем все, чему можно научиться за несколько лет». А нам-то все равно, хоть горшком назови, у нас три дня каникул, и это очень круто. И во время поездки в автобусе отец Романи, вместо того чтобы говорить: «обратите внимание, вот справа Гауди», использовал бывшее в его распоряжении время, чтобы продвинуться в чтении молитвенника.

Мы вошли в дом молитвы через главный вход, толкаясь и издавая крики. Самые отчаянные, в хвосте, под прикрытием автобуса, курили последнюю сигарету свободы и рассказывали байки о женщинах, которых никогда не видели. Скромная монахиня с улыбкой поздоровалась с обоими священниками (вторым был отец Валеро, преподаватель религии) и начала им что-то объяснять. Войдя в просторный холл, я узнал типичный для мест такого типа запах чистых простыней, лаванды, молчания с легкой примесью щелока и еле уловимого аромата солодового кофе. Нам показали наши комнаты («Во дают, Ровира, одноместные номера, шикуем!»), а потом Микель сел на одинокий стул в своей комнате и вообразил себя монахом. В комнате, не очень хорошо проветренной, чистой и обшарпанной, пахло так же, как на третьем этаже дома Женсана, где обитала прислуга. Микаэлус Секундус, Бенедиктинец, посмотрел по сторонам: на узкую кровать с одеялом цвета солодового кофе с молоком с двумя красными полосками поперек; на крест у изголовья кровати, ставший крестом его долгого покаяния; на стол с настольной лампой, стол его многочасовых занятий теологией; малюсенький умывальник, изъеденный жуками-древоточцами платяной шкаф и красные потертые кафельные плитки пола. Некоторые из них, когда на них наступишь, скрипели и могли отвлечь меня от молитвенных размышлений. Да, все верно: я чувствовал себя в этой комнате так, будто прожил там всю жизнь, и сердце мое забилось, когда я подумал, что хорошо бы стать священником.

Это были три дня, посвященные размышлениям под руководством отца Романи, большого специалиста по пересказу краткого содержания невероятно запутанных «Духовных упражнений» святого Игнатия Лойолы: три дня неба, ад, грех, щедрость, альтруизм, забавные притчи и выдержки из Евангелия, солодовый кофе с молоком, много каши и совсем чуть-чуть мяса, небольшие перерывы, когда можно пойти поиграть в мяч. Но Ровира не хотел играть в футбол и уходил гулять, совсем один, по кипарисовой аллее; а Болос, сколько я к нему ни приставал, играл мало, потому что вечно бегал с курильщиками в запретный уголок за прачечной.

По окончании духовных упражнений я был совершенно уверен, что пойду в священники. По целому ряду причин: я нашел путь, я был спокоен и радостен, потому что пребывал в Истине. Я чувствовал, что мой долг – смиренно указывать этот путь другим, всем тем, кто по слепоте душевной или же просто потому, что им не повезло и они родились в другом месте, не знаком с Благой Вестью о счастье, пути, истине и жизни. А еще я понял, что, как только сделаюсь священником, стану миссионером и уеду в самую суровую и далекую страну: щедрость душевную всегда стоит приправлять изрядной щепотью героизма. И глаза его заблестели, и Микаэлус встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки, и привели в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил. Из какой-то стыдливости я не сказал об этом своем решении отцу Барнадесу, нашему духовному наставнику, который следил за истинными плодами этих счастливых трех дней уединения с

отцом Романи.

Но глаза такого синего цвета, что от них кружилась голова, будто от взгляда в глубину морскую, потрясли основы твердого решения Микеля, которое с ним разделили шесть и семь десятых процента его одноклассников, на две десятых процента меньше, чем в предыдущий выпуск, – постепенно близятся все более тяжелые времена, и, не приведи Господи, настанет тот день, когда…

Глаза из глубины морской принадлежали сирене с ногами девушки в школьной форме школы Св. Иоанны де Лестоннак, девушки, которая каждый день прижимала к своей едва намечающейся груди учебники, не ведавшие своего счастья, и носила прелестные носочки. Кроме того, мне показалось, что я ей приятен. Звали ее Лидия. И я подумал: «Боже мой, какая девушка! Ах, если бы мне не нужно было сейчас ехать на этом поезде», и много дней я тайно ее обожал, и у меня перехватывало дух до тех пор, пока, дабы не разбилось вдребезги мое сердце, бывший миссионер Микель не рассказал обо всем Болосу, большому знатоку по части любви.

– Не понимаю, о ком ты говоришь.

И мы пошли ее поджидать – Болос с холодным взглядом эксперта, мы делали вид, что просто прогуливаемся по улице Пау Кларис, совершенно случайно, по воле случая, оказавшись напротив школы Св. Иоанны де Лестоннак в шесть часов вечера. Локтем в живот:

– Вот она!

– Да их четверо.

– Самая красивая!

– То есть?

– С длинными волосами!

– Блин, Женсана, длинные волосы у двоих!

– Но другая-то пугало огородное.

Тут Микель едва не завязал плодотворную теоретическую дискуссию о методах охраны огородных культур от птиц и женской красоте, но вдруг судьба ему улыбнулась.

– Вон та, которая смеется. Видишь? Она на меня посмотрела, да? Ну как тебе?

– Да… – Задумчивое молчание. – Да.

– Да? В каком смысле «да»? Что скажешь?

– По правде тебе сказать…

– Конечно, говори по правде! Красавица, да? Ведь ради нее и вены порезать не жалко, так?

– Не вижу в ней ничего особенного, Женсана.

Микель с Болосом за три дня не обменялись ни словом. Во время этого тяжкого испытания нашей дружбы я боготворил свою любовь, я шел в нескольких шагах позади нее, всячески стараясь ступать по ее следам, благословляя землю, которой только что коснулись ее ноги, и вздыхая в душе. Мечты об обращении камерунцев в истинную веру, ведущую от берегов озера Чад на Путь, к Истине и Жизни, разбивались о реальность красоты и становились все более туманны, сколько я ни пытался изо дня в день поддерживать этот еще теплящийся огонек в школьной часовенке.

Я окончил школу в тот год, когда в Барселоне поговаривали о том, чтобы отменить трамваи с благовидной целью сделать дорожное движение более интенсивным и спокойно загрязнять воздух выхлопами общественного транспорта. Возможно, эта идея была чем-то

вроде запоздалого гражданского покаяния за печальный конец карфагенца Гауд-Ди[10]. В общем, я окончил выпускной класс, не завалив ни одного экзамена. Рамье, Камос и Торрес остались на второй год. В последнем классе перед поступлением в университет занятия проводились в другом здании, нас уже не заставляли носить унизительный пиджачок, можно было курить открыто, а не по-партизански в туалете; мы уже считались взрослыми, а все, кто был курсом младше, нам завидовали, и я понял, что математика стала для меня слишком трудной, а бездонные глаза из школы Св. Иоанны де Лестоннак поблекли и действительно было бы дуростью резать себе вены из-за девушки, чье имя я уже плохо помнил и которая, смеясь, обнажала слишком неровные зубы. И когда мы с Мурильо, Болосом и Ровирой ходили играть в настольный футбол на улицу Консель-де-Сент (мне уже разрешали возвращаться домой на следующем поезде), задача просвещения камерунцев незаметно растворялась в воздухе и вдруг исчезала в свете насущной необходимости решать задачи по математике.

А потому, когда нас снова повезли в дом молитвы, я уже не с таким жаром отнесся к идее стать священником, хотя и честно задумался о своих мечтах и о том, чего бы мне хотелось достичь в жизни. И пришел к замечательному выводу, что делать, то есть действительно что-то делать, я ничего особенно и не хочу, а посвящать душу Богу – тем более. Мне было радостно освободиться от цепей, сковавших Савла две тысячи лет назад, ведь вселенная была полна прекрасных глаз: синих, черных, карих, цвета меда, зеленых, глубоких, как пучина морская, – и было счастьем думать, что мне не запрещено в них смотреть по причинам профессиональной этики. При этом в глубине души Микель Ни-богу-свечка-ни-черту-кочерга чувствовал себя трусом, потому что не внял зову Господню; и в момент слабости он решил поговорить об этом с отцом Романи, между лекциями, в его кабинетике, а потом с Болосом, в прачечной, за запрещенной сигаретой.

– Если у тебя есть призвание стать монахом, ты ничего не сможешь сделать, чтобы укрыться от воли Господней. Подумай об Ионе, сын мой.

– Но, отец мой, как узнать, призвание это или нет?

– Не тупи, Женсана, они просто вербуют молоденьких патеров, чтобы их лавочку не прикрыли.

– Да понятно. Ну а вдруг это мое призвание?

– Сын мой, зов Бога – это дар. В том, чтобы его отвергнуть, нет греха… Это просто значит, что ты не проявил должной щедрости, когда Он просил тебя об этом.

– Но я могу стать хорошим человеком, отец мой! Я могу быть добрым христианином и делать другую работу.

– Все-таки они те еще пройдохи. Романи просто хочет, чтобы тебя загрызла совесть, если ты не пойдешь в монахи.

– Нет-нет, никто не заставляет меня ничего делать. Меня же никто не заставляет выбирать ту или другую специальность.

– Где тебе хотелось бы учиться, какая специальность тебя привлекает, сын мой?

– Не знаю.

– Да ты же вообще не представляешь, чем будешь заниматься!

– Кто бы говорил!

Это была очень для меня плодотворная серия размышлений, организованная отцом Романи, членом ордена иезуитов, при поддержке Жузепа-Марии Болоса, лучшего друга, большого специалиста по разрешению чужих проблем. Не успев убедить меня в том, что нет ничего лучше, чем любить всех женщин в мире, он пришел ко мне плакаться в жилетку,

потому что наполовину потерял голову из-за угольно-черных волос, покрывавших плечи девушки, ходившей по улицам выше улицы Касп, ученицы школы Иисуса и Марии. Звали ее Мария Виктория Сендра, ей было шестнадцать с половиной лет. Она жила на углу улиц Брук и Валенсия, училась играть на флейте в музыкальной школе при консерватории, а лето проводила в Виладрау. Что-что, а информацию Болос, в отличие от меня, умел добывать всегда, когда появлялась некая цель. Я же ограничивался мечтами о каких-то неясных улыбках, которые, в худшем случае, даже и обращены были не ко мне. А слухи, что век трамваев подходит к концу, потому что в вагоне с прицепом могут ехать одновременно всего триста человек, а в один автобус помещаются более девяноста, да и бензин, конечно, всегда будет дешевле электричества, оказались верны. Была весна, то время года, когда девушки еще более прелестны и ходят в кофточках с коротким рукавом, а если повезет, то и совсем без рукавов, без чулок и носков и в чуть более коротких юбках, и дышат более нетерпеливо, с более страстным, неистовым желанием. Когда деревья наряжаются в тысячи оттенков зеленого и наполняют город радостью, когда становится очевидно, что скоро придет лето, а вместе с ним и каникулы, а вместе с каникулами – свобода, и как же все-таки хороша жизнь. И Микель был потрясен, а Болос очень разозлился, когда Ровира несколько церемонно, прогуливаясь под акациями на улице Дипутасьо, сообщил им, что решил пойти в иезуиты и уже в сентябре станет послушником. И я подумал, вот те на, и тут же мне пришло в голову спросить: послушай, Ровира, блин, а девушки-то как же? Но во взгляде Ровиры читалось, что его дух выше таких вопросов, потому что взоры его устремлялись гораздо дальше, по направлению к Пути, Истине и Жизни, и пока Болос, насупившись, жевал жвачку, я чувствовал себя полным ничтожеством и завидовал Ровире, герою Ровире, который нашел в себе мужество последовать зову Господню. Не то что некоторые, кто вернулся домой, в Фейшес, и никому ничего не рассказал о школьном товарище, который пошел в иезуиты. В то время мы с отцом беседовали о том, что я решил не поступать в Инженерно-технический институт, куда обязан был поступить каждый уважающий себя член семейства Женсана, если, конечно, хотел чего-нибудь добиться в жизни. И с того самого дня отношения с отцом испортились. А дядя Маурисий молча посмеивался себе под нос, зная, что Микель, его единственный и самый любимый внучатый племянник, будет учиться совсем в другом учебном заведении. И в родовом гнезде Женсана воцарился мир, к вящему недовольству отца, но мир. И мать облегченно вздохнула.

В первый день занятий в университете Микель надел галстук и сел на самый ранний утренний поезд. Мы с Болосом встретились на площади прямо перед зданием и оба сделали вид, что ничуть не волнуемся. Скорее всего, как раз поэтому мы и отправились выпить кофе в бар напротив и время от времени кидали косые взгляды на здание факультета гуманитарных наук, словно боялись, что оно от нас убежит. Болос тоже был при галстуке. Мы молча помешивали сахар в чашках, и Болос достал трубку, вид которой тут же побудил во мне зависть. Как и в любом, окажись он на моем месте.

– Не знал, что ты куришь трубку.

– Мне всегда трубки нравились.

– Но ведь эта новая, да? – Микель ехидничал даже с лучшим другом. Он взял трубку у него из рук и осмотрел с видом знатока. – Ну да, ты прав… Когда-нибудь да нужно было начать.

Рядом с ними сидела группа студентов. Много девушек. И все смеялись, как будто были

знакомы всю жизнь, как будто ходить в университет было для них самым обычным делом. И ни на одном из парней не было галстука.

– Мы ведь одни из всей школы поступили на гуманитарный?

– Ага!

Болосу стоило страшных трудов раскурить трубку. Огромное облако «Амстердамера» скрыло его от мира, за дымовой завесой у Болоса слегка закружилась голова. А через две затяжки трубка погасла.

– У тебя трубка погасла. – (Микель, что, трудно тебе быть нормальным человеком?)

– Сам знаю, болван. О чем ты там говорил?

– Что мы единственные выбрали гуманитарную специальность.

– Ну да. Мы и Ровира.

– Нет, что ты! Он ведь в послушники подался.

– Ну да, конечно, ты прав. Значит, только мы. – И, энергично затянувшись: – Жаль его, правда?

– Не знаю. Он, наверное, знает, что делает.

Надо полагать, что Ровира в тот момент, в половине девятого утра, в октябре, клял себя на чем свет стоит, повторяя: кой черт понес меня на эти галеры, что мне теперь с этой сутаной делать? А может, принимал Святое причастие с особым рвением, благоговением и трепетом, ощущая совершенное счастье. И ведь ни на одном из студентов в баре – только посмотри, ни на одном! – не было галстука.

– Все, кто учился на гуманитарном потоке, кроме меня, поступили на юридический.

Теперь трубка издавала очень странный звук, но дым из нее шел.

– А из моего математического потока я один гуманитарий. Слушай, Болос, что это за звук?

– Слюна. Мы с тобой – единственные сумасшедшие, ничего не скажешь.

В том возрасте, когда можно мечтать, этим правом следует пользоваться. Микель Женсана провел бóльшую часть подготовительного курса, дрейфуя в океане сомнений. И дело было не только в сомнениях о том, стоит ли становиться католическим священником, миссионером, стремиться к Царствию Небесному и помогать в этом стремлении другим. Он не был достаточно уверен и во всех остальных жизненно важных вопросах – например, возможно ли обнять всех красивых девушек на свете (то есть обнять всех девушек без исключения, так как я знал, что все они красивы), курить, не кашляя, и выбрать, кем быть: производственным инженером, инженером-технологом, химиком, врачом, адвокатом, архитектором и так далее. Я выбрал «и так далее», хотя оно меня очень пугало. Но мне было предельно ясно, что я не хочу быть ни производственным инженером, ни инженером-технологом, ни химиком, ни врачом, ни адвокатом, ни архитектором. Давняя семейная традиция не давала мне последовать ироническому совету дяди Маурисия, единственного человека в семье с двумя высшими образованиями, который всегда говорил, что, если хочешь заработать денег, Микель, нужно заняться ремонтом машин: открыл гараж – закрыл гараж, а они все едут. Жаль, что я не последовал его совету. Но дядя говорил это только для того, чтобы позлить моих родителей и бабушку Амелию. В глубине души все мы знали, что ни один Женсана не может позволить себе не поступить в университет; другое дело – не окончить его или не применять в жизни полученные знания. Это несколько облегчало Микелю жизнь, поскольку возможность стать наборщиком, плотником или машинистом поезда можно было даже не рассматривать, а о профессии пастуха или постового не стоило и

мечтать. Но несмотря на все эти ограничения бескрайней свободы выбора, Микель в выпускном классе страшно переживал, не зная, что ему делать дальше. До того самого дня, пока Болос не сказал: говорят, в университете можно изучать историю.

– Прямо такая специальность есть? Ее прямо так изучают, как, например, какую-нибудь архитектуру?

– Ага. – Это «ага» прозвучало увереннее, трубкой еще и не пахло: до университета было еще далеко.

– Неплохо бы туда пойти, да? Стоит разобраться, как считаешь?

Мы выяснили кое-что про историческую специальность, в этом нам помогли наши школьные патеры, которые, правда, слегка недоумевали, почему это нормальные, здоровые парни из хороших семей не хотят быть ни архитекторами, ни адвокатами, но информацию нам все-таки предоставили, и Болос с Микелем поступили на факультет философских и гуманитарных наук. И Болос (Жузеп-Мария Болос, Друг-неразлейвода) провел все лето, посвящая своего товарища, то есть меня, в секреты латинской грамматики, основательно мною с четвертого класса забытой, и как гласит слово Божие: чем дальше в лес, тем больше дров, и лето у нас прошло за «res, rei», «fero, fers, ferre, tuli, latum» и «Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris Italiam»[11], и все это для того, чтобы в первый день учебы оказаться, сгорая от нетерпения и при ненужном галстуке, перед зданием гуманитарного факультета Барселонского университета. За шаг до того, чтобы начать новый этап, посвященный изучению всемирной истории, языкознания и философии, и с готовностью этот мир улучшить, обновить и возглавить.

– Сколько тут девчонок, а?

– И не говори. Наконец-то.

Привыкшие на девушек охотиться, они несколько разнервничались, а главное, обрадовались при виде их столь значительного количества. Болос и Микель вступали в мир взрослых.

– Жарко тут.

Микель украдкой расстегнул пуговицу на воротничке и ослабил для начала галстук. Болос, уже пришедший к дружескому согласию с трубкой, тоже украдкой ослабил себе узел.

– Ну что, пошли?

В восемь часов тридцать семь минут и двенадцать секунд второго октября тысяча девятьсот шестьдесят шестого года Женсана и Болос, два бесстрашных ученика выпускного класса «А» иезуитской школы, имевшие смелость пойти не в адвокаты, впервые вступили в храм мудрости – сердце в пятках, комок в горле, галстук в кармане.

4

– Знаешь что? Здесь, в психушке, я понял, кто я такой.

– И кто же ты, дядя?

– Самый что ни на есть Маурисий Безземельный, Летописец Ветра, Творец Истин, бывший музыкант, бывший филолог, твой бывший дядя.

– Ты все еще мой дядя.

– Нет. Теперь я Летописец. Нельзя же быть всем сразу. – И, как будто извиняясь, он доел последний кусочек шоколада и прошептал: – Ты мне как сын.

– Спасибо.

– Жаль, что у меня нет детей…

Дядя ушел в воспоминания, несколько долгих минут молчал, а потом заговорил монотонным голосом: «Жаль, что у меня их нет. Это почти так же ужасно, как если бы они у меня были. Для меня дочь или сын – биологическое продолжение, отрицание полного исчезновения. Это как сонату написать или сонет. Мы обсуждали это с твоим отцом, пока не стали друг другу чужими. Он говорил: „Да, я согласен, Маурисий: иметь детей – значит продолжать свое существование. Но процесс наследования беспощаден и безжалостно стирает черты. И более искусно, чем сама смерть“. И наверное, твой отец был прав, потому что вряд ли кто-нибудь сейчас вспомнит любимый цвет мамы Амелии. А она умерла всего восемь или десять лет назад. Или двадцать, или тридцать, я не знаю».

– Пять.

– Что?

– Моя бабушка Амелия умерла пять лет назад.

– Пять…

Он замолчал. Нервные пальцы забегали в поисках шоколада, но ничего не нашли и затихли, слушая, как дядя говорит: «Знаешь, мама обожала алые розы на розовом кусте у входа в дом. Да, я-то помню, как она их любила, но это воспоминание умрет со мной. Если бы у меня были дети, дети моих детей все равно уже бы об этом не знали. Так, день за днем, те, кого уже нет, умирают все больше и больше, и вскоре остается одно только имя; приходит час, когда ураган забвения сметает их и они исчезают, как унесенное ветром семечко. В чем же тогда ценность современных идей о том, что мы представляем собой цепочку генов, которые воспроизводятся в каждом новом человеке? Хотел бы я с ними познакомиться, пусть они попробуют написать симфонию, эти гены, уже миллионы лет перерождающиеся из поколения в поколение. Твой отец… Хотя нет: твой отец – совсем другая история, потому что он уже сто тысяч лет назад ушел из дома в тапках, в дождь, сказав: я выйду на минуту. А что осталось от твоих дедушки с бабушкой? – (И я ему сказал: „Знаешь, я кое-что помню о бабушке и дедушке с материнской стороны, дядя. У меня остались смутные воспоминания о темной квартире в Барселоне, в Эшампле, о том, как бабушка и дед трепали меня по щеке и угощали карамельками тайком от родителей, а те спешили поскорее уйти. А тети Мерсе и Анна заводили с ними разговор, чтобы еще успеть скормить мне тройную порцию конфет“.) – Хорошо, ну а родители бабушки и деда? Что тебе о них известно? Отрывочные разговоры и ни единой фотографии. Прадеда Жиро́ звали Микель, как и тебя. Но и тебя, и твоего брата назвали Микелями не в честь него, а из-за одной тайной истории любви. Прабабушка Леонор была дочерью солдата-карлиста[12] по имени Жауме Жисперт, который участвовал в восстании Кабреры[13] под командованием Жерони Гальсерана, а потом и в Третьей карлистской войне[14]. Рассказывали, что он был пламенным сторонником наследника престола. И еще добавляли, что в мирное время он был честным позолотчиком статуй и всю жизнь ездил на тарантасе по заброшенным дорогам страны, от церкви к часовне, реставрируя и перекрашивая святых, Христов, Богородиц с алтарей. Говорили, что он был прекрасным реставратором. Но я никогда его не видел, не знаю, на ком он женился, был ли левшой и любил ли рыбу. А по линии твоего отца, в роду Женсана, все гораздо понятнее, потому что у этой семьи замашки старинного рода и страсть хранить и собирать все бумаги, а кроме того, у них есть дядя Маурисий, ставший Официальным Летописцем. Не у всякой семьи есть свой дядя Маурисий. И неясно, хорошо это или плохо. По линии Женсана столько бумаг, что я смогу дойти до Антония Женсаны-и-Пужадеса, праотца династии. Но о

его предках уже совсем ничего не известно. И все, что я знаю, и все, о чем я тебе рассказываю, я узнал из документов или услышал в шепоте стен дома, говоривших сами с собой. Или, может быть, я прочитал это в глазах портретов из галереи. А может, мне рассказала это мама Амелия, моя приемная мать, или Синта, одна из тех служанок, что служили в доме, когда я там появился. Кто-то иногда показывал мне портреты в картинной галерее над часовней, которая, казалось, только для того и была построена, чтобы хранить в ней портреты предков. Знаешь, Микель, наша семья всегда стремилась увековечить себя этими портретами.

Дядя Маурисий был прав. Портреты из галереи… Когда мать продала дом, их привезли ко мне тщательно упакованными, как богатое наследство. Я их до сих пор не распаковал и не повесил на чердаке, потому что чердака у меня нет и никогда не было. Но я хорошо их помню, потому что с детства на них смотрел: суровое лицо и парик Антония Женсаны и его чопорную жену, Аделу Каймами. У них было по два портрета. Лучший из них и, скорее всего, лучший из всей коллекции – работы Тремульеса[15]. Я помню черты и его старшего сына, Маура Женсаны, и его жены, Жозефины Портабельи, и ее испанской собачки, которую, как гласила золоченая надпись на рамке, звали Бонапартом. Этих пращуров, конечно же, никак нельзя было назвать франкофилами. Больше всего изображений осталось от сына господ с собачкой, еще одного Антония Женсаны (прапрапрадеда Тона), значащегося в анналах дяди Маурисия как Антоний Второй, Златоуст, который решил попытать счастья на тернистом пути испанской политики середины девятнадцатого века и всю жизнь принадлежал к лагерю королевы Изабеллы и с течением времени добился пустой славы парламентского оратора. Он, бедняга, и представить себе не мог, что время при участии шаловливых генов смешает его основательно либеральную кровь с самой что ни на есть глубоко карлистской кровью позолотчика статуй, его заклятого врага, пламенного сторонника наследника престола. И что этот союз в начале двадцатого века явится причиной появления на свет рассеянного, влюбчивого, чувствительного и ленивого персонажа, заядлого игрока и неистового поклонника красоты по имени Маурисий Безземельный, который имел несчастье совершенно свихнуться и на данный момент сложил из бумаги уже целую дюжину абиссинских львов, которых, по его словам, необходимо прятать от разрушительного гнева сержанта Саманты. Как он не мог представить себе и того, что этот неравный брак в середине двадцатого века явится причиной появления на свет еще одного рассеянного, влюбчивого, чувствительного, ленивого и непостоянного персонажа по имени Микель Женсана-и-Жиро́, которому до ужаса безразличны мечты Карла VI, графа де Монтемолина[16], и который, проезжая в такси мимо статуи генерала Прима[17], своего дальнего родственника, в парке Цитадели (побежденные прошлого века так и остались навсегда без статуй), даже взгляд не поднимет посмотреть, сколько голубиного помета накопилось у него на голове.

Надо сказать, что об Антонии Втором, Политике, известно кое-что еще: он привел в негодование добрую половину города Фейшес, женившись на бывшей парижской танцовщице, родившейся в Манрезе[18], – на прапрабабушке Маргариде. Но потом его простили, поскольку он сумел заслужить дружбу генерала Прима, которого в те времена голуби обходили стороной. Подле друга ему выпало провести часы тревоги и минуты славы. Ему удалось женить своего сына, поэта Маура Второго, Божественного, на племяннице генерала, прабабушке Пилар. Но ему не довелось стать валенсийским свояком генерала

Прима, потому что Амадею Савойскому[19] заблагорассудилось занять испанский трон за год до заключения этого желанного брака. Как бы то ни было, поэту Мауру повезло: несмотря на то что его жена не принадлежала к могучей ветви Примов, герцогов Кастильехос, и не была герцогиней Прим, престижа доставало и на их семью. Но вообще-то, я люблю деда Маура не за его родственные связи с военными, а за то, что он был поэтом. Похоже, что, кроме стихосложения, он предавался пламенному соперничеству, которое неизбежно, будто повинуясь какому-то закону природы, сталкивало его с поэтом по имени Жуан Марагаль[20]. Прадеду Мауру не пришлось пережить смерть жены и внучки Эльвиры во время бессмысленной бомбежки города Гранольерс, потому что он умер еще до начала войны[21]. Портрета его сына Антония, деда Тона, который женился на бабушке Амелии, в галерее не было – его заменяла пожелтевшая фотография, половину которой занимали его усы.

– Да покарает его Господь, Микель.

– Что ты такое говоришь?

– На деде Тоне лежит ответственность перед Историей за прекращение чередования Антониев и Мауров в нашей семье, поскольку своего сына, твоего отца, он назвал Пере. – У дяди на шее вздулась вена. – А это уже совсем другая история – так называемая Война имен.

– И ты навеки его проклял, потому что он назвал сына другим именем?

– Нет. Я проклинаю его навеки за то, что он был сукин сын.

– Он был моим дедом.

– И моим приемным отцом. Но он сукин сын, слышишь?

Не дожидаясь, пока дядя начнет краснеть и бледнеть от гнева и криков, я поспешил подтвердить, что да, конечно, дядя, он – сукин сын. Пусть он мне дед, но сукин сын. Ведь это исчадие ада развязало Войну имен, назвав моего отца Пере, а не Антонием.

– Нет, его должны были назвать Мауром. А тебя Антонием.

Да. Это, конечно, серьезно. Впоследствии дед Тон, раскаявшийся в содеянном, попытался настоять на том, чтобы тетю Элионор назвали Маурой, но бабушка Амелия наотрез отказалась: ей вовсе не хотелось, чтобы дочь всю жизнь мучилась, называясь именем известного политика. Девочку окрестили Элионор, и она умерла очень скоро, через три или четыре года, от лихорадки. И когда родился третий ребенок, еще одна дочь, деду Тону даже в голову не пришло окрестить новорожденную Антонией, потому что бабушка была уже начеку. Девочку назвали Эльвирой, и это она умерла при той страшной бомбежке. И у бабушки Амелии и деда Тона навсегда остался в глазах горький отблеск. Может быть, потому-то дед Тон и поступил так, как поступил. И хорошо еще, что они не дожили до побега единственного оставшегося у них сына; иногда смерть ведет себя по-джентльменски. Но бабушка была сильной женщиной, как Жулия. После войны, уже состарившись, бабушка с дедом посвятили всю оставшуюся у них нежность своим единственным внукам: Микелю Первому и Микелю Второму, последним отпрыскам рода. Бедные старики, сколько лишней нежности у них осталось, они не успели потратить ее на дочерей: Элионор умерла в четыре года, от лихорадки, а Эльвира – в двадцать лет, во время бомбежки. Бедная бабушка Амелия, вопреки советам мужа, отказалась уезжать из дома Женсана. Этим она спасла себе жизнь и пришла в отчаяние, поняв, что невольно послала на смерть свекровь и дочь. Бабушка Амелия – последний персонаж из портретной галереи дома Женсана. Родители Микеля так и не нашли подходящего момента, чтобы сфотографироваться. А когда они наконец собрались это сделать, за день до того, как собирались пойти в портретную студию Франсино, отец сказал: я выйду на минуточку – и больше не вернулся. Шел дождь, а он был в домашних тапочках.

– А для меня, дяди Маурисия Безземельного, Хранителя Семейной Памяти, пережившего в сердце своем столько смертей и боли и сошедшего с ума, потому что в голове не умещалось так много печали, места в галерее не нашлось. С меня не писали портретов масляными красками, хотя я безутешно и долго оплакивал смерть моих сводных сестер, сначала Эли, а потом Эльвиры. Она была такой красавицей в восемнадцать лет! Ты даже не думай, Микель, что это просто старческая слабость, что я вдруг начал тосковать по мертвым, с которыми я скоро снова увижусь. Во-первых, я не собираюсь ни с кем там встречаться, потому что не верю в жизнь после смерти. А во-вторых, когда говоришь о семье, нельзя не вспоминать о тех, кто умер: жизнь существует потому, что люди умирают, и нет в жизни ничего более естественного, чем смерть. Я боюсь смерти, Микель. Но мне некому об этом сказать, даже сержант Саманта мне тут не помощник. Она ведь думает, что я душевнобольной, и следит только за тем, чтобы ты не приносил мне шоколада.

– А у тебя печень от него не лопнет?

– Я свободный человек, Микель. – Он порылся в ящике тумбочки. – Вот, смотри.

И вот дядя Маурисий смотрит на меня с фотографии, которая всегда висела внизу у лестницы, рядом с портретом тети Карлоты, его матери. Невероятно молодой дядя Маурисий, в канотье и с сигарой, с небрежным видом, типичным для счастливых двадцатых годов. «А для меня они уже не были счастливыми, Микель. Смотри, на фотографии я только притворяюсь счастливым».

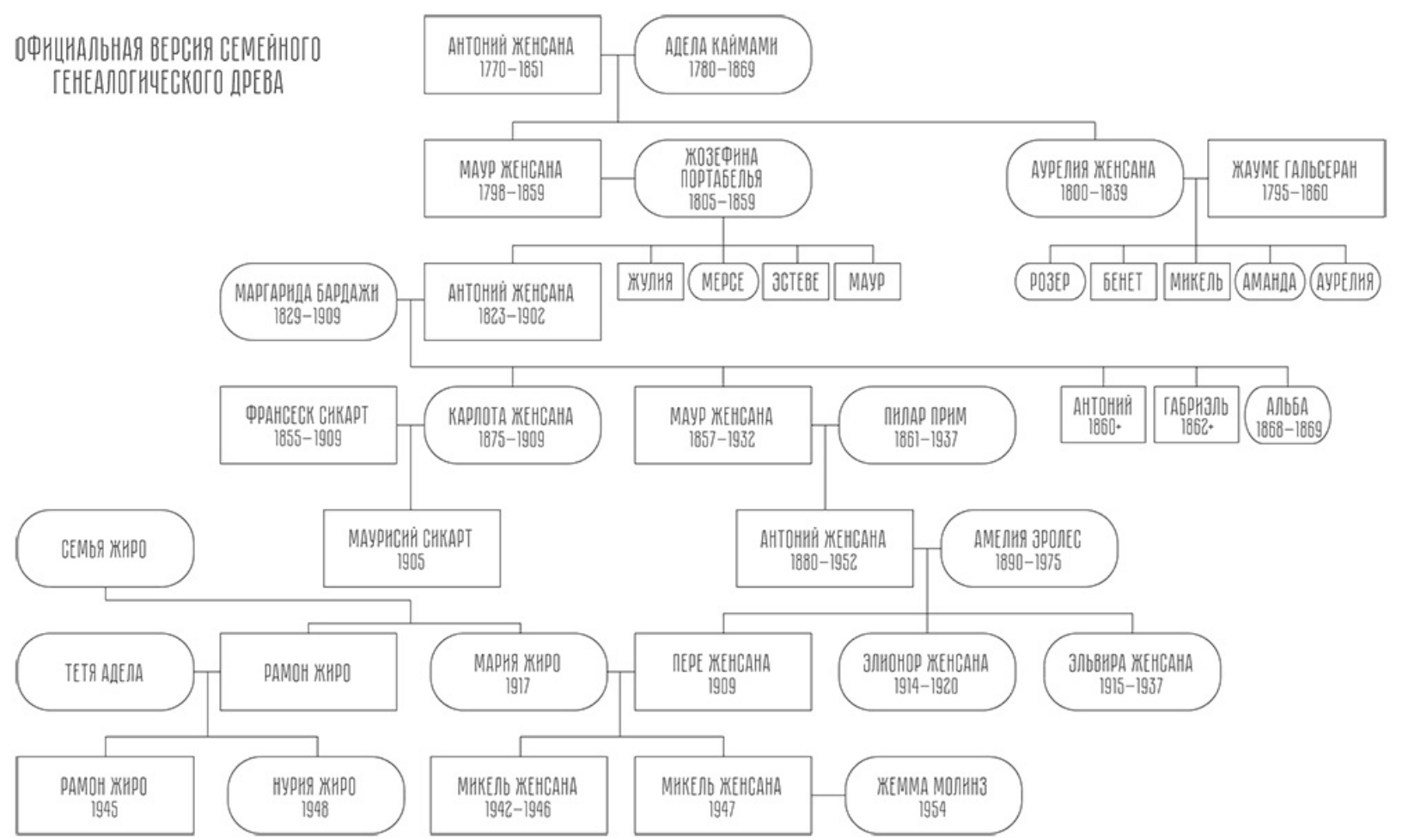
Я кивнул на фотографию:

– Почему она никогда не висела в портретной галерее?

– Потому что, по мнению папаши Антона, Mauritius non erat dignus[22]. – Он даже не улыбнулся. – Взгляни, вот это – официальная версия генеалогического древа нашей семьи.

– Почему «официальная»?

– Потому что есть еще другая, настоящая, неизвестная и правдивая. Я тебе ее нарисую, если руки не слишком будут дрожать.



5

Храм мудрости. Нашего священного трепета хватило на полчаса. За это время Болос и Женсана (с широко раскрытыми глазами и галстуками в карманах) наслушались разговоров разных компаний студентов, больше походивших не на прихожан святого храма, а на музыкантов оркестра, которые, до чертиков устав от шестнадцатых долей нот, расселись по местам, зевая, и обсуждают, двадцать один или двадцать шесть дней длится отпуск; некоторые из них, может быть, даже жуют жвачку, перед тем как состроить кислую мину и начать (на виолончелях и контрабасах) Largo – Allegro moderato Второй симфонии Рахманинова.

– Препод по истории – дрянь, а по истории искусства – в полтора раза дряннее. – Латынь мне по барабану. – А ты что скажешь? – Да мне вот как раз должны позвонить и предложить работу в банке, а пока я тут прохлаждаюсь. – А по языкознанию кто? – По языкознанию вообще нет препода. То есть есть, конечно, но он так, замещает. – Видали? В одиннадцатой аудитории сегодня собрание. – В одиннадцатой – это где? Во сколько? – Понятия не имею, но они раньше двенадцати никогда не начинают. – А ты откуда знаешь? Второгодник, что ли? – А ты не знаешь, есть ли среди студентов коммунисты? – Какие еще коммунисты? Ты о чем? – Не знаешь, что такое Демократический профсоюз? – Нет, а что? – Вы что, в первый день уже на лекцию собрались? А зачем тут двор и бар? – А я во второй половине дня буду сидеть в библиотеке, и все. – Везет тебе, у меня по вечерам еще лекции есть.

И для полноты создавшегося у Микеля Второго, Интеллектуала, впечатления первый священник Храма, первый препод, хоть жвачку и не жевал, но явился со старым портфелем,

из которого торчали пожелтевшие бумаги, и начал бубнить о раннем палеолите только через двадцать минут после начала занятия, подождав предварительно пятнадцать невероятно долгих минут, не приплетутся ли еще какие-нибудь запоздавшие студенты. В результате я решил, что никогда в жизни не буду мечтать о всякой ерунде. И познакомился с Бертой. Я заметил ее уже на лекции по языкознанию (Соссюр, язык и речь, означающее и означаемое) – в красном пальто, очень броском, но с благородной осанкой. Потом Микель увидел эту девушку на скамейке во дворике. Она, все в том же красном пальто, болтала с подругой, обнимая книги так, будто была в них влюблена, и Микель прошел мимо двух барышень (Болос ушел пить кофе), сердце его заколотилось, и она (я еще не знал, что ее зовут Берта) подняла голову и застенчиво улыбнулась. Как будто ждала, когда я пройду мимо. Он прошел вперед еще несколько шагов, пока не смог незаметно обернуться и посмотреть, всем ли, кто проходит мимо, она так улыбается: нет, она улыбнулась только мне, мне одному. И я в нее влюбился.

Да, я все знаю, но поделать с этим ничего не могу. Даже сегодня, в сорок с лишним лет, я способен потерять голову от шороха юбки, исчезающей за углом в переходе в метро. И это еще цветочки. А тогда, в ранней юности, я влюблялся в девчонок. И первой (кроме Виктории из семьи Моллинс и Лали Гитерес, когда им было соответственно двенадцать и четырнадцать лет: летом они приходили играть к нам, в дом Женсана, и мы с двоюродным братом Рамоном задирали им юбки, а они злились и смеялись одновременно) – первой была Берта. Если, конечно, не считать Лидии из школы Св. Иоанны де Лестоннак, моей вечной любви, продолжавшейся целых три месяца. И пока я ехал из универа домой, у меня было предостаточно времени, чтобы думать о ее прекрасном лице и усложнять себе жизнь, ведь тогда я как раз пересматривал свои религиозные взгляды: в университете все уже не казалось так просто, как у иезуитов, там совершенно спокойно можно было быть атеистом. Это было даже модно. Микелю всегда было свойственно кое-что скрывать, и мне было бы очень неловко, если бы Берта узнала, о ком так бешено бьется мое сердце. К тому же никто, кроме Болоса (потому что лучшие друзья все-таки лучшие друзья), не мог знать, что я позорно живу в особняке, которого тогда стыдился и о котором теперь тоскую, и происходил из семьи с родословной. В эти обстоятельства посвящать никого не стоило. Позже к ним прибавилось еще и нежелание быть частью, c’est dommage[23], буржуазии, ведь было бы так замечательно и правильно родиться там, где надо, в лоне рабочего класса, единственного класса, имеющего право на существование. Наше время не признавало историй о поместьях и потерявших силу древних родах, нам нужно было спешить поскорее делать революцию, пока Франко не умер в своей постели. Даже не знаю, что сказал бы об этом Фрейд.

Великий влюбленный достойно начал учебный год. Он много занимался, и некоторые предметы ему действительно нравились. Вместе со своим неразлучным другом Болосом, который тоже приметил одну девицу (она морочила ему голову, заявляя на людях, что не быть сторонником свободной любви – мелкобуржуазно), Микель завел дружбу с группой товарищей, которые пытались увеличить влияние Демократического профсоюза среди студентов. Возле университета нас караулили полицейские с искаженными ненавистью лицами, и я узнал, что такое страх, и старался, чтобы, когда я выступаю на собраниях в битком набитой одиннадцатой аудитории, у меня не дрожал голос. Берта была в той же компании, она всегда молчаливо, внимательно слушала и пожирала мир глазами. А я читал Бакунина и изданные за границей книги издательства «Руэдо Иберико», которые теперь уже и не вспомню, кто мне давал. В то время я завел привычку всегда носить в кармане книгу и

променял классическую литературу, к чтению которой уже успел пристраститься под пагубным влиянием дяди Маурисия, на модные в то время латиноамериканские романы. Я чувствовал себя сыном своего времени и, помнится, как-то раз, прогуливаясь по университетскому двору, заявил, что читать классиков – это лицемерный способ тратить время. Говорил я с жаром, не помню, правда, действительно ли верил в то, что говорил. И как-то раз Берта, ходившая уже не в красном пальто, а в зимней куртке, более приспособленной для того, чтобы убегать от полиции, отвела меня в дальний угол университетского сада, и я унесся в мир мечты. Но вместо того чтобы сразу же признаться мне в любви, сказав: я полюбила тебя, родной мой, а я бы ей: да, я тоже, любовь моя, она вдруг остановилась, резко вскинула голову и, глядя мне в глаза, произнесла: «Ты не поможешь мне, Микель?» Скорее всего, это была первая встреча, о которой я рассказал Болосу только в общих чертах, ничего конкретного, потому что так начиналась моя личная жизнь. Сердце бешено стучало и было готово выскочить из груди, и мне страшно хотелось обнять Берту, смотревшую на меня снизу вверх. Мне было больно. В такой ранней юности мне не дано было понять, что классика всегда современна, что она – дитя всех времен.

– Я? Да, конечно. Чем тебе помочь, Берта? Я сделаю все, что ты захочешь, Берта. Я…

Но она зажала ему рот рукой без колец, пахнущей кокосовым мылом, и сказала: «Давай я сначала тебе все объясню: мне бы не хотелось, чтобы ты шел на это против воли». Я улыбнулся и сел на скамейку с самоуверенным видом, готовый выслушать все, что угодно, и она, не называя имен, очень понятно и подробно объяснила условия сотрудничества. И Микель испугался (точнее, впал в панику), но не сумел сказать: «Нет, в таких вещах на меня не рассчитывай, Берта». То есть он как раз собирался сказать это, но вдруг услышал, как губы его произносят: «Можешь на меня рассчитывать, Берта, не сомневайся». И она дала ему ключ.

Микель в тот день обедал один, без Болоса, очень растроганный тем, что Берта выбрала меня, остановилась на мне, миропомазаннике, Микеле Женсане Втором, Избранном. И, кроме того, я был восхищен еще и тем, что Берта играла такую важную роль в общем деле, а я и не подозревал. Удивительно, сколько силы таилось в этой нежной и хрупкой женщине… А еще я был напуган, потому что никогда в жизни ничего подобного не делал. Я постеснялся сказать, что, если я останусь вечером в Барселоне так надолго, уйдет последний поезд и я не смогу вернуться домой, что мне нужно предупредить родителей и что к тому же я сам не свой от страха. Единственное, что я сказал ей, – это «можешь на меня рассчитывать, Берта», как Богарт. И, подкрепившись чечевицей, которую каждую среду подавали в баре «Арибау», я позвонил домой, чтобы сказать матери, что не приеду ночевать («Мама, не волнуйся, я пойду к Болосу заниматься, нам неожиданно, в последний момент, назначили контрольную. Да, по латыни. Да ладно, мама, ничего страшного, один раз посплю без пижамы. Ну конечно, завтра вечером. Пока»). И просидел до вечера в Каталонской национальной библиотеке, пытаясь освоить понятия базиса и надстройки, которые препод по истории называл устаревшими выдумками марксистов, не говоря уже о таком самообмане ленинизма, как исторический материализм (мы тут же хватались за словарь, чтобы найти определение «ленинизма» и «исторического материализма», как раньше, еще сопляками, пытались отыскать в нем слово «шлюха» или «хер» и ничего не находили, потому что в школьных толковых словарях подобных слов и в помине не было). А препод по философии говорил, что эти идеи вполне актуальны, поскольку помогают нам понять разницу между идеями Маркса и Вебера, и

каждый чувствовал себя практически обязанным выбрать тот или другой подход: в те годы колебания были запрещены, сомнение наказуемо, тот, кто не с нами, против нас, и уже много воды утекло с тех пор, как я избавился от привычки цитировать Новый Завет, – хотя надо сказать, что в то время я еще ходил к мессе, храня в тайне эту свою очередную мелкобуржуазную черту, о которой никто не знал, кроме Болоса.

Поужинал я в том же баре «Арибау», словно торопясь нажить себе язву желудка, и стал нервно прогуливаться по проспекту Грасия. Мне было страшно, но думал я о том, что Барселона все-таки очень красивый город, с такими фонарями, каких в Фейшесе сроду не бывало, густонаселенный город (конечно, населенный довольно молчаливыми людьми, но все-таки людьми), где постовые ходят в касках, похожих на тропический шлем Стэнли[24]. Здесь можно было поглазеть на афиши кинотеатров «Публи» или «Савой», думая: предложу-ка я завтра Болосу сходить на этот фильм. Но если бы я был хищным зверем, я бы почуял страх, потому что Барселона вся сжалась под одеялом недоверия и тревоги. Несколько недель назад студенты выходили на улицы, и весь район Эшампле в течение дня был полон броневиками легавых, конями легавых и ненавистью легавых, а тротуары превращались в поле битвы. Ночью становилось еще хуже, потому что из любого люка могли возникнуть четверо агентов тайной полиции и спросить документы, кто ты такой, чем занимаешься, куда идешь, откуда ты родом и Маркс ты или Вебер.

Пробило двенадцать, и Микель пошел, согласно полученным инструкциям, к переулку Доминго. Да: посреди пустынной улочки стояла сильно потрепанная «веспа». Он вставил в зажигание ключ, который дала ему Берта, и мотороллер завелся, а я с каждым разом все больше изумлялся способностям Берты и все больше в нее влюблялся. И я был партизанским командиром, а она моей любимой в засаде. Жаль, что она не видит меня в действии. А может, так даже лучше.

Микель Че Женсана доехал на «веспе» до улицы Валенсия. В точности следуя инструкциям, он повернул на улицу Уржель и в первый раз проехал мимо автобусной остановки, чтобы дать знать незнакомому товарищу, что все в порядке. Проезжая там во второй раз, я замедлил ход. Тень вскочила мне на заднее сиденье и обхватила меня за талию. Я услышал ее голос – Берта, любовь моя, прошептала мне на ухо, что Дани не смог прийти: «У бедняги температура сорок, но мы и без него справимся». И если сердце у него уже давно сумасшедше стучало от страха и оттого, что нужно было притворяться храбрым, сейчас оно билось «бум-бам-бом», потому что это Берта согревала ему ухо своим дыханием и крепко обнимала за талию, – сбылось все то, о чем он так жарко молился всем богам. А Берта, словно догадавшись об этом, легко и нежно приникла к спине команданте Че Женсаны, который, пьяный от чувств, ехал по улице Майорка, и, когда они добрались до проспекта Грасия, сказала: потом выпьем пива в «Драгсторе», и он кивнул и страшно захотел, чтобы это «потом» уже настало. Он проехал вниз по улице Пау Кларис, и, так как машин на дороге совсем не было, они в мгновение ока оказались перед полицейским участком на улице Лайетана. Чтобы им не скучать, автоматическая система управления светофорами мэрии города Барселоны решила, что в этот самый момент на светофоре перед полицейским участком должен зажечься красный свет, и они остановились в двадцати шагах от караульного с автоматом в руке, который недоверчиво на них посматривал. Размышляя, не упасть ли ему замертво на этом самом месте, Микель услышал сдавленный смешок Берты и шепот: «Мать твою, ну и засада!» – и подумал две вещи: во-первых, как грубо она выражается в образе партизанки, а во-вторых, что это просто унизительно, но эта женщина ничего не

боится. И она подвинулась к нему еще ближе на сиденье и обняла сзади, как будто они были влюбленной парочкой, и тогда полицейский с автоматом как-то потерял к ним интерес. А Микель теперь уже точно умирал – от этого объятия. Зеленый. «Зеленый, Микель! Зеленее не будет!»

Подъезжая к кафедральному собору, он уже с тоской вспоминал об объятии. Но мысли Берты были безраздельно поглощены войной, словно его спутница была не только бесстрашна, но и бессердечна. Она сказала: «Теперь нам нужно разделиться». А он: «Да как же? Почему?» А она: «Да потому, что мы одни и надо действовать быстрее. Так, конечно, опаснее, но ничего».

Они с жутким рокотом подъехали к тихой площади Сан-Жауме. Пересекли ее в направлении улицы Ферран. «Паркуйся здесь», – сказала она, когда мы добрались до улицы Авиньон. Воцарилось молчание, и Микелю показалось, что из-за фонаря выезжает полицейский фургон, и Берте показалось то же самое, потому что она сказала: «Надо было оставить „веспу“ подальше». И Микель промычал: «И что теперь?» А она рассмеялась, похлопала его по спине, передавая сумку, и сказала: «Шучу, блин! Легавые ночью спят».

Они поделили работу пополам: она пойдет в сторону старого дворца правительства Каталонии, а он – к зданию мэрии. Поскольку прикрытия у них не было, работать следовало тщательно, но быстро. Без паники, но не зевая. И он подумал: «Самоубийца, идиот, кто тебя заставлял…» А Берта, грозя пальцем, повторяла в очередной раз: «Если вдруг услышишь шум, беги и забудь про мотороллер». Эту инструкцию он, кажется, усвоил лучше всего. «Увидимся здесь через пять минут». И она растворилась в темном переулке как тень. Микель рассеянно поглядел на свой баллончик с краской. Прошло уже минуты полторы, а он еще и с места не сдвинулся. Тут он подумал о Берте, еще больше восхитился ею и быстро-быстро пошел вперед, пока не дошел до боковой стены мэрии. Он огляделся. Охрана, скорее всего, стоит только у парадного входа. Делают ли они обход? Следят ли за стенами их люди? Откуда ему знать? Он настоящий камикадзе. Две с половиной минуты, мое время истекало, а я был не в состоянии собраться. Он представил себе Берту, пишущую на стенах разборчиво и четко, как добросовестная девушка, аккуратным почерком делающая домашнее задание, и тряхнул головой, чтобы избавиться от этого образа. Три минуты, а он еще ничего не сделал. Он попытался вспомнить первую фразу, что-то про амнистию. Открыл крышку баллончика, и она упала на мостовую и весело зацокала по камням, и ему хотелось сквозь землю провалиться, потому что как раз в этот момент спустились с неба на парашютах десять тысяч полицейских с пулеметами – а, нет, померещилось. Тогда он поднял крышку, начал марать стены исторического здания словами о свободе, и к нему вернулись силы. Теперь он и вправду стал героем. Сначала «Я», потом еще четыре буквы и следующее слово. Медленно, красивым почерком. Все, готово. Он посмотрел на часы: вот черт, Берта, уже, наверное, три часа как ждет у «веспы». Колокол ближайшей церкви пробил час, выказывая ему тем самым решительное осуждение, и он, не поблагодарив его за информацию, бежал с места преступления к мотороллеру, к Берте. На стене здания мэрии, символа господства тоталитарного государства над Барселоной, на виду у всех красовалось – до тех пор, пока до надписи не добрались блюстители порядка, чтобы стереть ее с лица земли, – «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ», вырвавшееся из глубин моего испуганного сердца. Тайное, искреннее и бесполезное признание в любви.

«Возлюбленные братья во Христе, давно уже душа моя желала обратиться к вам с

посланием, но каждодневные обязанности послушника не позволили мне до сих пор последовать велению моего сердца. Решаюсь все же посвятить данный нам „свободный день“, на самом же деле всего несколько свободных часов, тому, чтобы написать вам, Болос и Женсана, как бы печально ни делалось мне при воспоминании о милых друзьях.

Не знаю, насколько вам могут быть интересны обстоятельства жизни послушников. Все сводится (и все направляется!) к жизни в молитве и самоотвержении (о, сладость самоотвержения!), а также душевной и духовной подготовке к тому, чтобы нам, если будет на то воля Божия, сделаться истинными служителями Благой Вести. Послушничество для нас – лишь первый шаг познания великолепия мира, открывающегося внутренним очам священнослужителя. Мы встаем в семь утра, по звонку. Я вам говорил, что каждый день принимаю холодный душ? Приведя себя в порядок, мы проводим час за молитвой в своих кельях. Потом все вместе принимаем участие в великом таинстве Евхаристии. После этого завтракаем, прибираемся в кельях и приступаем к утренним занятиям латынью и греческим. Перед обедом у нас есть немного времени, чтобы привести себя в порядок, потом мы обедаем в трапезной. После придающей бодрости прогулки по парку, окружающему послушнический корпус, и недолгого послеобеденного сна мы возвращаемся к учебе в аудиториях, но на сей раз не для занятий мирской наукой, а для духовной беседы, направленной на то, чтобы проникнуться духом общества Иисуса. В иные дни нам дают несколько часов свободного времени, которое мы употребляем для ухода за монастырским имуществом или же отправляемся в соседние деревни, чтобы преподавать закон Божий. Вернувшись обратно и приведя себя в порядок, мы готовимся к ужину. После ужина – еще одна прогулка, и вот мы уже готовы, примерно около десяти вечера, отойти ко сну, усталые телом, но пылающие духом и с обновленным желанием быть верными последователями возлюбленного Господа нашего Иисуса. Так проходит день за днем».

– Расписание необыкновенно увлекательное, – сказал Болос, поднимая глаза, чтобы перехватить взгляд Женсаны.

– Да, попал парень. – Я вздохнул и отпил пива. – Но по-моему, он не шутит.

– Правду-матку режет. От чистого сердца, черт возьми!

– Ну и хорошо. Может, в этом его счастье.

– Еще чего.

– А что?

– А то, что ему совсем мозги запудрили. Не видишь, что ли? Куда девался Ровира, который шагу не мог ступить без протеста?

– Может, такая жизнь для него и есть форма протеста.

– Ну ты даешь, Женсана! Нет. Там все построено на повиновении, и больше ни на чем.

– Может, ему так удобнее. Думать не надо. Не нужно ничего решать.

– Это тебе так удобнее. Каждый раз, когда тебе нужно принять решение, такое впечатление, что ты его рожаешь.

Мне совершенно не понравилось это замечание Болоса. Но Микель скрыл недовольство за улыбкой и отхлебнул еще пива. Мы сидели за одним из столиков на террасе ресторана на Пласа-Рейал, до нас доносился запах жареных сосисок и аромат кофе, и Болос снова принялся читать письмо, которое я получил несколько часов назад: «И не подумайте, друзья, что я тоскую по прежней жизни; несмотря на это, я восхищаюсь мужеством, с которым вы посвятили себя политической деятельности».

– Представляю, чего ты ему наговорил, – мстительно заметил я.

– Я? Да ерунду. Пустяки. Ничего особенного.

Да, пустяки: я мог себе представить воодушевленное письмо Болоса, в котором он рассказывал о нашей каждодневной борьбе с полицией и о том, как мы поняли, что, кроме того, что нам рассказывали о мире, в нем есть еще и любовь. И что в первый день было очень трудно, но вскоре мы привыкли выходить на улицу и кричать на всех площадях, пока не послышится полицейская сирена, и вот мы бежим, бросив транспаранты, с мечтой в сердце. Я мог представить себе его письмо, потому что и сам бы написал точно такое же. «Но сегодня, борясь с естественным для меня юношеским нетерпением, я направляю все свои усилия на то, чтобы стать достойным духовным служителем, который желает приносить пользу братьям своим к вящей славе Божией. Почему бы вам как-нибудь не навестить меня? Каждое второе воскресенье нам разрешают принимать посетителей, и приходить могут не только родственники, но и друзья».

– Прям как в тюрьме.

– А ты почем знаешь.

– Ну, может, скоро узнаем. Что думаешь? Съездим к нему?

– Как-то мне от этого не по себе.

– А ведь он, наверное, в сутане ходит…

Болос и Женсана посмотрели друг другу в глаза. Это была только первая кружка пива. Они расхохотались: Ровира в сутане! Это уж слишком!

– Мы там со смеху помрем.

– Слушай, а может, попозже съездим?

Они отложили поездку на потом вовсе не потому, что им не хотелось поскорее повидать Ровиру: положение политически ангажированных студентов не позволяло нам устраивать подобные экскурсии, так что «ты прав, не надо, лучше потом к нему съездим – если будет настаивать – вот именно, если будет настаивать».

Микель не знал, что через пятнадцать-двадцать дней будет с раскрытым ртом глядеть из окна поезда на искаженный скоростью пейзаж, двигаясь на встречу с Ровирой, который вовсе не настаивал. Меня начала грызть совесть, которая ко мне уже тогда была особенно беспощадна; в общем, я отправился в гости к возлюбленному брату во Христе тайком от насмешливого Болоса и, пока в окне с бешеной скоростью мимо пролетали пейзажи, думал, что даже от друзей мы иногда что-то скрываем, хотя кому-кому, а Болосу я раньше всегда обо всем рассказывал. Обо всем, кроме вот этой поездки, потому что о блаженной улыбке Ровиры я рассказывать не стал – он даже говорить стал медленнее и ходить неторопливо и размеренно. Указывая на яблони и персиковые деревья, растущие по правую и по левую сторону от дороги, ведущей от корпуса послушников к озеру, Ровира не говорил, что они красивы, а называл их даром Божьим. Он был очень разговорчив, очень воодушевлен своей новой жизнью, немного прибавил в весе, но самое главное – во всем этом пренеприятнейшим образом чувствовалось, что один из твоих друзей перешел на другую сторону.

– На другую сторону чего?

– Не знаю, Жулия. За грань. Он больше не был одним из нас.

– Или вы были не с ним.

Ну да, естественно. Ровира, священнослужитель, как друг был потерян, хотя, когда я уезжал, оставляя его наедине с навязчивой идеей, мы обнялись, и он очень растрогался. По

дороге домой я даже не обращал внимания на пейзаж за окном. Всего этого я еще не знал за две или три недели до того, когда мы договорились, что «вот именно, если он будет настаивать, мы посмотрим, убедит он нас или нет». А еще я не знал, что Болос поступит точно так же, как я, только через месяц. И поскольку всего этого мы еще не знали, мы продолжали разговор.

– И как он там обходится без баб?

– В письме о них не упоминается.

– Значит, ему без них худо.

– Серьезно?

– Ну а как? Ты подумай! – Болос был настолько уверен в себе, что иногда это становилось просто невыносимо, но у меня не было доводов, чтобы с ним спорить. – Каждый божий день в окружении мужиков со стеклянными глазами, которые из женщин одну Божию Матерь и видят. В лучшем случае.

– Может, там монахини есть.

– Откуда там монахини! Ты как с неба свалился, Женсана!

Я жил в Фейшесе, но был тесно связан с Барселоной. Во мне кипело постоянное воодушевление от необходимости срочных перемен в мире, за дверью у меня висел портрет Че Гевары, а образ Девы Марии Монтсерратской, всегда висевший у меня в комнате, я заменил на очень маленькую (и, как мне казалось, черно-белую) репродукцию «Герники» Пикассо. Я витал в облаках, впрочем, как и Болос, но он умел делать вид, что это не так, с той неотразимой убедительностью, что сбивала с толку любого внимательного наблюдателя, и уже за одно это я ему завидовал.

– Ты сегодня видел Берту?

– Нет. Не знаю, куда она запропастилась. Такое ощущение, что она все реже появляется в университете. Найти ее невозможно.

– Не падай духом.

– Да как тут не падать духом?! А Роза?

– Она разговаривает как деревенщина!

– Ты мне уже рассказывал. Так как она?

– Слушай, давай сходим в кино, в «Алексис». Там сейчас дешевые билеты.

– А что показывают?

– «Канал». Кажется, польский фильм. Про вторжение нацистов.

– Наверное, хороший. Чья очередь платить за пиво?

– Кто будет пробовать вино?

Мы с Жулией посмотрели на официанта, который как из-под земли возник с бутылкой в руках.

– Пусть пробует дама, – сказал я наугад.

Но энергичный жест Жулии меня переубедил. И меня, и официанта. Я сделал вид, что оцениваю цвет, поболтал вино на дне бокала, понюхал его и попробовал. Я закатил глаза, понимая, что все это делается для внимательной и беспокойной публики. А я-то почем знаю. Для меня все вина хороши.

– Ну как, хорошее вино? – нетерпеливо спросила Жулия.

– Полагаю, да.

– Что значит «полагаю»? Горчит? Пробкой отдает?

– Нет-нет… Я же сказал, что лучше бы тебе пробовать.

Жулия одним взглядом положила конец спору. И оба джентльмена немедленно решили признать вино хорошим. Мне нравится решимость Жулии. Она привлекает меня, потому что отличается от моей застенчивости… и напоминает мне бабушку Амелию. Жулия прекрасно могла бы быть моей тетей.

– И правда, вино хорошее. Но обойдется тебе дорого.

– Что?

– Ты все еще в облаках витаешь.

– С позволения дамы… – Я встал, делая вид, что я официант, и убрал в карман зажигалку Айзека Стерна, которая, с тех пор как мне ее подарила Тереза, ни разу не ночевала ни в одном кармане, кроме моего. Жулия заметила этот бестактный поступок, но ничего не сказала. – Пойду помою руки. Не знаешь, где здесь туалет?

– В конце коридора, вон та дверь. По крайней мере, женский там.

Очень забавно спрашивать у чужого человека, где туалет в твоем собственном доме. И я пошел туда, где еще пять лет назад была ванная на первом этаже. А за столом осталась женщина, сверлившая мне затылок взглядом, – женщина, с которой я пока еще не знал, что делать, которая привела меня в мой собственный дом, чтобы я рассказывал ей о своем лучшем друге, и которая пока что только слушает с раскрытым ртом историю того мира, который встает передо мной в этих стенах. А я ей даже не сказал, что все дело в том, что «Красный дуб» был когда-то моим домом.

6

Молоденький официант показал мне, где в нашем доме туалет. Там, где раньше была ванная на первом этаже, какой-то бесцеремонный человек повесил на дверь ужасающего вида металлическую табличку с изображением джентльмена, отдаленно напоминавшего Марселя Пруста. Микель открыл дверь, немного разозлившись. Эта Майте Сегарра хорошенько постаралась использовать все имеющееся пространство. Ванну, батарею и шкафчики убрали. Перегородка разделила пространство на две части, в одной из которых стояли унитазы, а в другой, у окна, писсуары – у того самого окна, откуда он выглядывал, чтобы посмотреть, качается ли на качелях кузина Нурия или пытается стащить наклейки, которые он подкладывал ей в качестве приманки. Он обильно помочился. Это, наверное, из-за журчания фонтана ему так захотелось. Сейчас рядом с окном висел дозатор с мылом и две раковины. А в углу возле двери стоял автомат с презервативами. Как же мы умудрились потерять этот дом? И почему он не протестовал? Он бы, наверное, предпочел, чтобы его незаметно разрушили жуки-древоточцы, забвение, крысы, сорняки и насекомые, а не Майте Сегарра и все эти клиенты, которые день за днем вторгаются теперь в его личную жизнь. Я опустил монетку в автомат. Из кухни доносился охрипший и усталый голос повара с марокканским акцентом, что-то насчет нарезанной картошки, и я подумал, что жизнь полна ошибок, но возможности переиграть ход нет; в последнее время эта глубокая мысль приходит мне в голову постоянно; если чуть-чуть постараться, она может превратиться в самую что ни на есть замечательную навязчивую идею и прекрасный повод посетить психиатра. И хорошо еще, что у меня есть возможность думать об этом: бедному Болосу и этого не дано; он умер, почти не догадываясь, почему умирает. Его товарищи по парламенту и лично мэр в связи с его кончиной опубликовали в газетах некрологи с самыми броскими выражениями. Болосу,

несомненно, предстояли великие свершения – да, если бы он только не погиб. Смерть встала на его пути совершенно неожиданно.

Я вышел из туалета с презервативом в кармане. Вместо того чтобы вернуться в библиотеку, я направился к выходу, к двери, которую отец в один прекрасный день открыл и – до свидания. Теперь ее открыл я. Дверь с тех пор совсем не изменилась. Вдалеке, скорее всего у моря, беззвучно вспыхивали молнии. В моем саду, полном незнакомых машин, было душновато. Земляничное дерево пряталось от моего взгляда в сумерках, стыдясь того, что встретились мы при таких обстоятельствах, и не решаясь сказать мне: «Микель, послушай, в конце концов, меня тут каждый день поливают, я знаю, что дело не в этом, но подчас не дано выбирать…» Микель с негодованием отвернулся от дурацких отговорок земляничного дерева, открыл дверь и снова вошел в дом, не обращая внимания на подозрительные взгляды своего друга-метрдотеля, и остановился в прихожей, оглядывая просторный вестибюль с таким же удивленным выражением, какое было у бабушки Амелии семьдесят два года назад, когда она еще не была бабушкой и даже матерью толком не успела стать, «но у нее уже был приемный сын, твой дядя Маурисий Безземельный, единственный оставшийся в живых истинный отпрыск семьи Женсана, Официальный Летописец и Совершенный Безумец с того самого дня, когда я понял, что есть боль, против которой невозможно устоять, а я все живу да живу, и если я все еще не умер и продолжаю приводить в порядок семейные архивы, то это из-за тебя, Микель, только из-за тебя». А Микель, сидя возле кресла, где дядя Маурисий сплетал нити воспоминаний и в который раз разглядывая дедовские портреты в психиатрической клинике «Бельэсгуард», говорил ему: «Сейчас я поступил бы точно так же, дядя. Я бы еще раз спас тебе жизнь, потому что люблю тебя». А дядя суровел и отвечал: «Микель, мужчины таких вещей друг другу не говорят. И если у меня когда-нибудь хватит храбрости рассказать тебе обо всем, ты, наверное, меня разлюбишь».

Бабушка Амелия никогда не смогла бы представить себе, что на эту дверь, которую муж открыл перед ней с сияющими от восторга глазами, на дверь дома, в который они въезжали после того, как его перестроил архитектор Мункуниль[25], налепят аляповатые наклейки с названиями четырех самых престижных кредитных карт для удобства посетителей. Для клиентов. Войдя в дом, Амелия, госпожа Амелия Эролес, в замужестве Женсана, глубоко вздохнула и оглянулась, чтобы посмотреть на мужа; в глазах у нее были слезы. Муж стоял у порога и был гораздо более заинтригован тем, что она скажет, чем переделками в интерьере, уже прекрасно ему знакомыми.

– Тебе нравится? – спросил он с мольбой в голосе.

Это было так заметно, что она не решилась его расстраивать.

– Просто невероятно, Тон… Это… Это же… Такое впечатление, будто дом выстроили заново. Это, наверное, очень дорого стоило, Тон.

– На то и деньги, когда они есть: их нужно тратить. Осталось только обжить дом. Родители приедут только на следующей неделе.

– Мы всю неделю будем одни? – радостно спросила она.

(«Одни» значило, что вместе с ними, моими тогда еще любимыми приемными родителями, там был и я, несчастный сирота Маурисий Безземельный, спасенный от беды юношеским пылом благородства твоей бабушки Амелии, благослови ее Господь, и деда Тона, катись он от врат Господних прямо в ад; Пере – Пере Женсана Первый, Беглец – твой отец, Микель, и мой самый близкий в жизни друг в течение многих лет, о котором у тебя дома не хотят вспоминать, потому что однажды он испугался и не подумал ни о ком, кроме себя

самого; а еще твои тетки, Элионор и Эльвира, мои сводные сестры. И четыре человека прислуги. Я тебе когда-нибудь расскажу про служанок, которых я там застал, Микель. Знаешь что? Дом Женсана всегда был слишком велик для такого незначительного количества обитателей.)

Дядя Маурисий имел обыкновение создавать теории обо всем на свете, и у него этих теорий накопилась большая коллекция; он слишком много вечеров провел скучая, и пребывание в сумасшедшем доме обострило его ум. Одна из таких теорий, которую он позаимствовал у князя ди Лампедуза[26] (дядя никогда не скрывал своих источников), состояла в том, что настоящий дом, во всей широте, щедрости и сложности этого понятия, должен быть достаточно велик для того, чтобы хранить секреты от самих обитателей. А если дом к тому же еще и красив, само обитание в нем и рождение новых поколений дает жизни какой-то смысл. Так говорил дядя, детей у которого никогда не было. Он считал особняк Женсана настоящим домом, потому что там было столько секретов, что в каждом уголке жила своя печальная история. А теперь он еще и превратился в ресторан. Дом был настоящим домом, несмотря на то что некоторые из его хозяев, в большинстве своем Мауры, делали все возможное, чтобы как следует его обезобразить. Скорее всего, ни один из членов семьи Женсана, там живших (за исключением Маурисия), не понимал своего счастья: дом был знаком им всю жизнь. Это скорее гости, приезжавшие на крестины или на похороны, или заходившие попить чаю, или заглядывавшие поздравить Маура или Антония с именинами, изумлялись величественной красоте здания и окружавшего его сада. Многие восторгались часовней в вышедшем из моды барочном стиле эпохи прадеда Маура с песиком Бонапартом, который приложил руку к ее украшению совершенно ужасающими статуэтками и орнаментами. Но несмотря на сомнительный интерьер, самому зданию часовни, довольно небольшому, было присуще некоторое благородство. Эта скромных размеров часовня отличалась прекрасно выдержанными пропорциями; в ней венчались все представители рода Женсана – и мужчины, и женщины, когда-либо вступавшие в брак. Без исключения. Лучи солнца в часовню попадали через три разноцветных витража на окнах северной стены со сценой из Ветхого Завета на каждом. Стена напротив была глухая, если не считать двери в ризницу, – с этой стороны часовня примыкала к дому. Алтарь на клиросе, на две пяди приподнятом над остальной частью нефа, был свидетелем профессиональных амбиций нескольких десятков священников, служивших там мессы и справлявших все разнообразие литургических действ, которые проводили в Фейшесе. Тридцать скамей и исповедальня (отличное укрытие, когда играешь в прятки), да еще крестильная купель и три картины маслом с изображением святых на глухой стене. Снаружи, в колокольне с завитками, обитали Антоний и Маур – два небольших колокола, звон которых отмечал все важные события в доме Женсана.

Но главным предметом гордости семейства Женсана был дом: бельэтаж, основной жилой этаж и верхний этаж для прислуги. Знающие люди говорили, что в нем насчитывалось двадцать три комнаты, в том числе двенадцать спален и, конечно же, комната Элионор. А кроме того, две столовых, гостиная, портретная галерея, библиотека прадеда Маура (семь тысяч восемьсот тридцать пять томов и великолепный салонный рояль), кухня, гардеробная, гладильная, прачечная и дворик для сушки белья. И еще кое-что, чего ни один гость не видел. Но все-таки самое глубокое впечатление производил сад: тенистый парк площадью в два гектара, в одном из уголков которого был пруд с фонтаном и беседка, окруженная белым жасмином, который в июле источал сладкий, пьянящий аромат. И

магнолиевая аллея, ведущая к лесной части, к каштановой роще, где я поцеловал Жемму и стал мужчиной и где до этого целые поколения маленьких Женсанчиков и Женсаночек переживали восхитительные приключения в обществе ужасных неописуемых чудовищ. Сейчас этот великолепный сад, полный историй, превратился в удобную парковку для клиентов не менее великолепного ресторана. В сумерках, за то время, пока он был снаружи, Микель не успел точно разглядеть, сколько деревьев срубили для того, чтобы расширить парковку или сделать окрестности посветлее.

– Дядя…

– Что?

– Дом уже не наш. Отец…

– Я знаю. А почему, ты думаешь, я сошел с ума?

Он взял в руки синюю пальму, которую сложил из бумаги за время нашего разговора, и стал разглядывать ее так пристально, будто от этого зависела его дальнейшая судьба. А потом посмотрел мне в глаза:

– По какому праву. – У него не было сил даже придать вопросительную интонацию.

– Дом же принадлежал отцу, так?

Я не понял дядиного молчания. Его невозможно было понять даже по прошествии нескольких месяцев.

– По какому праву он это сделал? – Теперь вопросительная интонация все-таки прозвучала.

– Посмотрим, сможем ли мы его вернуть. – Я кашлянул. – Адвокат говорит, что…

Да что он скажет, этот адвокат? Бедняга Альмендрос был еще больше подавлен, чем мы все, когда ему пришлось сообщить нам, что мебель и воспоминания из дома необходимо вывезти в течение месяца. Но поскольку я часто вру, Микелю все-таки удалось договорить:

– …что нашу апелляцию могут удовлетворить. У нас еще несколько месяцев осталось.

Новое молчание дяди подтвердило то, о чем всегда говорила Жемма: врать я совершенно не умею.

Дядя опять взял в руки пальму и, как с ромашки, начал обрывать с нее листья в немом «любит – не любит», от которого зависела судьба уже не столько дома, потому что с тем, что сказал адвокат, поделать ничего уже было нельзя, сколько моей совести, которая давно уже протекает, как дуршлаг.

7

«В теории Косериу, в отличие от теории Ельмслева, система не имеет формального характера. Система Косериу концептуально ближе к понятию нормы Ельмслева: это функциональная часть языка. Таким образом, в определении фонемы как системы будут представлены ее основные характеристики. В общем и целом понятие нормы для Ельмслева и Косериу формулируется на несколько абстрактном уровне». И это когда еще была возможность ходить на лекции, потому что атмосфера с каждым днем все больше накалялась от серого, гнетущего присутствия полиции, и те студенты, которые, как я, поначалу впали в некоторое заблуждение, считая, что в университет они пришли учиться, начали понемногу понимать, что нас ждут более срочные дела, чем установление разницы между системами Косериу и Ельмслева, – скажем, возвращение демократии; скажем, использование права нашей нации на самоопределение; скажем, освобождение от фашизма и от созданных

франкизмом структур; скажем, революция. Потому что в стране, согнувшейся под гнетом фашистской, ультраправой и контрреволюционной диктатуры, назревали объективные условия для революционного процесса. «Нет никакого сомнения, что без помощи Соссюра Ельмслеву не удалось бы так ясно увидеть корень проблемы, а значит, сегодня мы бы не говорили с такой определенностью о глоссематике». Объективные условия для революции создаются конкретными социальными и историческими обстоятельствами. Однако они могут быть использованы только революционной элитой, стоящей у руля. Она руководит борьбой в конкретном обществе, идущем путем революционного процесса к установлению по-настоящему справедливого строя после необходимого, но недолгого периода диктатуры пролетариата. Таким вещам учишься, прислушиваясь, на них обращаешь пристальное внимание, чтобы переварить столько новой информации. В этом состоял первый университетский курс Микеля Женсаны Второго, Впечатлительного. А еще он деликатно следил за всеми передвижениями Берты, которые с каждым разом, и очень явно, становились все более таинственными. Бывали дни, когда он совсем не видел ее на лекциях. Несмотря на это, в обед она сидела в баре и, держа в руке бутерброд с сыром, вела в углу беседу с каким-то незнакомцем, да еще с таким жаром, что даже не замечала меня, и я думал: черт бы тебя побрал, парень, что ты ей там рассказываешь, совсем ее заворожил. С той ночи, когда Берта и Микель, Абеляр и Элоиза, вместе писали лозунги на стенах двух важных административных зданий франкистского правительства в Барселоне, они ни разу не разговаривали об этом. Они доехали на мотороллере до переулка Доминго, чтобы вернуть «веспу» на место, и выпили обещанного самим себе пива в «Драгсторе». Я сидел понурый, мне хотелось рассказать Берте о том, что я оказался не на высоте и все сделал не так. Но она не дала мне возможности ни в чем признаться, потому что все это время проговорила о разделении нашего общества на классы и о том, что теперь ей все стало гораздо яснее и у жизни появился смысл. И Микель говорил: «да, Берта» – и тонул в ее полном энергии взгляде; ему было абсолютно наплевать на то, что необходимо осуществить анализ конкретной реальности, потому что было нечто более срочное, как, например: «Берта, я люблю тебя, я с ума по тебе схожу, я с места не могу сдвинуться, ты – Путь, Истина и Жизнь; ты даешь жизни смысл, но ко мне совершенно равнодушна». В тот вечер в «Драгсторе» она взглянула на часы и, словно внутри ее сработал некий пружинный механизм, сказала: «ну все, мне пора бежать» – и положила на стол купюру в сто песет, ведь настоящая революционерка никогда не позволит мужчине заплатить за себя: это мелкобуржуазный пережиток. И ушла, как только ей принесли сдачу, не позволив себя проводить, прочь, в никуда, исчезла из жизни Микеля, а они были так близки, когда смотрели опасности в лицо. Ту ночь, уже пропустив все поезда домой, Микель проспал в подъезде, и ему казалось, что душа его окоченела от холода. С тех пор, когда они встречались на занятиях, Берта никогда не делала и не говорила ничего связанного с их совместным приключением. А он, хотя и находил время, чтобы разобраться в различиях между латинским и греческим крестами, и пытался понять, какой момент благоприятен для настоящей революции, бродил по коридорам тоскующей тенью, и Болос был обеспокоен, хотя сам в то время волочился за очень низенькой девушкой из Реуса с милым лицом и самым чувственным голосом, какой мне приходилось слышать. Думаю, Болос был влюблен именно в это меццо-сопрано. Так что я сообщил ему, что мы оба влюблены в призрак. Нас обоих пора выбрасывать на помойку, а прошли мы всего лишь три четверти курса. И дело не в трудности латыни, не в сухости арабского языка (который учил я) или греческого (который учил Болос), не в зубрежке

огромного количества исторических фактов (кстати, представленных на страницах толстенных учебников без тени революционной точности, как живейшее выражение реакционной и фашистской историографии преподавателей нашего университета) и не в тысяче слайдов произведений искусства, превращавшихся под конец вместо удовольствия в мучительную угрозу. Нет, дело было совсем не в этом, дело было в том, что, взглянув в глаза девушке или услышав ее голос, мы совершенно лишались сил. И мы признали эту очевидность, выходя как-то вечером из Национальной библиотеки Каталонии, на улице де-л'Оспиталь, когда решили все друг другу рассказать, и разревелись над кружкой пива, и продолжали плакать над второй и третьей. Болос и Микель напились до беспамятства, как следует, до крайности, до рвоты. Эта пьянка из пьянок, крик разбитых сердец, объединила нас еще больше, если такое возможно, но мы продолжали все так же грустить. С того дня мы с Болосом – братья по духу, Жулия.

Время от времени Микель думал о том, что Берта ни разу его не упрекнула за то, что он не проявил достаточного революционного тщания, когда писал на стене мэрии; несколько раз я собирался пойти и закончить начатое, один, но мне ужасно не хотелось этого делать. А полиция все не оставляла нас в покое. Барселона в то время была черно-белым печальным городом, придушенным безжалостной рукой диктатора. Несмотря на красоту, которую невозможно скрыть, это был город с грустным взглядом, который жил, отвернувшись от моря, совершенно отгородившись от собственного волшебства. Бедная Барселона, где капрал полиции имел больше власти, чем владелец старейшего магазина на проспекте Грасия. И вот пришел тот день, когда Берта со своей улыбкой исчезла, и Микель не знал куда. Он спрашивал у Болоса и у остальных товарищей; спрашивал у члена профсоюза, который учился на его курсе; тот тоже ничего о ней не слышал. На самом деле я не приходил в отчаяние до тех пор, пока не узнал, что экзамены она тоже сдавать не будет. Она исчезла бесследно: даже в общежитии, где она жила, ему сказали, что Берта вот уже несколько недель как уехала, не сказав куда. И вот так Микель Марлоу-Женсана[27] нежданно-негаданно потерял свою любовь. И Болос, большой специалист по части решения чужих проблем, сказал ему: «Но ведь, в конце концов, когда ты ее здесь видел, ты тоже не мог к ней даже прикоснуться. Ты что, чучело, не видишь, что эта девушка не для тебя и ты был ей совершенно безразличен?» А я, хоть и не говорил ни слова, вспоминал жаркое объятие на мотороллере во время самоубийственной подпольной операции по разрисовке правительственных зданий революционными надписями, о любимая и пропавшая Берта души моей.

Под конец учебного года Барселонский университет гудел, как паровой котел, превратившись в бастион наивной, но благородной борьбы с франкизмом. И представители власти растерянно наблюдали, как отпрыски буржуазии (которая продолжала терпеть и улыбаться, когда следует) восставали против истории. А в начале второго курса мы с Болосом познакомились с Субиратсом. О Берте не было ни слуху ни духу, хотя она все еще жила в моей памяти, в красном пальто, в зимней куртке, с книгами и баллончиками с краской в руках. Субиратс, высокий, видный парень несколько загадочного вида, никогда не заходивший на лекции, с бесконечным терпением стал заниматься с шестью или семью непосвященными, среди которых были и мы с Болосом, открывать им тайны основных событий недавней истории: Маркс, Энгельс, Роза Люксембург, Лондон, Германия, меньшевики, большевики, «Апрельские тезисы», объективные причины падения авторитета Временного правительства Керенского, революция, Ленин, Троцкий, Красная армия, Сталин,

Зимний дворец… Мы с трепетом ходили на тайные показы фильмов «Октябрь», «Иван Грозный» и «Броненосец „Потемкин“» на узкой, 16-миллиметровой пленке, служивших для нас роскошным продолжением обычных занятий революционным катехизисом. И дальше речь шла о надеждена равновесие в обществе, о необходимости немедленного создания крепкой, профессионально направленной партийной структуры (ленинский тезис) вместо партии масс (тезис социал-демократов). О социалистах христианского толка, о попутчиках, о партии, о необходимости создания рабочей Красной гвардии, о демократическом централизме (на этом этапе катехизиса трое из семерых студентов уже вступили в Объединенную социалистическую партию Каталонии, среди них Микель Женсана Второй, Новообращенный: по примеру первых христиан они сделали это без помпы, достаточно было рукопожатия с ответственным за ячейку, в суровой дисциплине катакомб, – святой Тарцизий, святая Присцилла, святой Микель Женсана, коммунист христианского происхождения). О строгости подпольной работы – без шуток, на войне как на войне, – о конфедерации профсоюзов Испании, о постоянной, до изнеможения, без перерыва деятельности (тут еще двое заявили о своем желании вступить в партию), о необходимости по причине строгой секретности хранить все это в тайне даже от самых близких. И в сердце поселилось чувство опасности, не очень острое, но постоянное. И боль за павших товарищей. И вся эта история с самокритикой: что случилось, что произошло, почему произошло, почему мы это не предотвратили, почему мы этого не предвидели… И всегда получалось, что ты сам во всем виноват, потому что солдат всегда должен быть бдителен, – то же самое чувство, которое прививали мне еще иезуиты в старших классах школы. И мы делали все, чтобы через десять-пятнадцать лет у психиатров не было недостатка в клиентах. Я, помнится, чувствовал, что все, что ни делается в Советском Союзе, прекрасно, а мы и не знали. «Yankees, go home»[28]. И первое воскресенье, когда ни Болос, ни я, не сговариваясь, не пошли к мессе – посмотреть, что из этого получится. На следующий день мы поняли, что ничего не произошло, то есть, наоборот, происходило нечто замечательное: у нас стало гораздо больше времени. И через несколько ночей – первый приступ тахикардии, который меня ужасно напугал. Это произошло дома, ночью. Бабушка Амелия уже давно спала, а родители ушли, не помню куда. Дела у Пере Первого, Будущего Беглеца, шли уже неважно, но фабрика стараниями моего кузена Рамона и при почетном присутствии дяди Маурисия все еще как-то держалась на плаву. У Рамона был разгар приготовлений к свадьбы с Лали Брос, и каждую ночь он падал в кровать совершенно измученным. Я всегда спал в комнате один, потому что чего-чего, а комнат в доме Женсана было предостаточно: комната у меня была огромная, почти необъятная, и я променял ее на мечту, Жулия.

Было темно, и я еще не совсем очнулся от кошмара, в котором страх перед дубинкой бешеного полицейского, яростно набрасывавшегося на нас во время полуденной демонстрации, смешивался с завыванием сирен и нашими голосами: криками мы с Болосом пытались прогнать страх, ведь на демонстрацию пошли только Болос, Микель и еще сто девяносто восемь идиотов. (Бояться, между прочим, не контрреволюционно.) Я в отчаянии бросился в первый попавшийся открытый подъезд, потому что больше всего боялся, что меня схватят и увезут в полицейский участок на улице Лайетана и там начнут пытать. Нет, только не это! Микель не знал, насколько он способен переносить физическую боль, и ни в коем случае не хотел превратиться в предателя. Нет-нет, только не это! Такие вещи ему снились – все вперемешку. Кроме того, его беспокоило еще кое-что: он столько времени провел на демонстрациях, что уже давно не занимался, не ходил в библиотеку и не появлялся на

лекциях. Ни о каких лекциях в такой обстановке и речи быть не могло. Мое будущее историка («Да уж, историк, с такой профессией на кусок хлеба с маслом не заработаешь! И не стыдно тебе, что твой двоюродный брат, дальний родственник, а вовсе не мой сын, заведует нашей фабрикой?») начало погружаться в туман. На самом деле я даже не знал, собираюсь ли я быть в этом неясном будущем историком, филологом, литературоведом, востоковедом или географом: в те беспокойные годы все эти профессии вызывали у меня интерес, и это только усложняло то, что мне и раньше давалось непросто, – принятие решений. Тогда-то меня и разбудил стук далеких барабанов, стук близкий и неровный, и я проснулся в темноте, весь в поту, и грудь моя оказалась натянутой кожей барабана, и из нее раздавалось «бум-ба-рам-бей-бум». Я испугался и не придумал ничего лучшего, как пойти разбудить Рамона, который в рабочие дни ночевал у нас дома: «Эй, Рамон, ну проснись!» – а он все спал как убитый. (Рамон окончил школу с отличными оценками, помогал с фабрикой своему дяде, то есть моему отцу, был помолвлен с Лали Брос, вот-вот должен был жениться, а по воскресеньям ходил на футбол – понятное дело, что чутко спать он никак не мог.)

– Что случилось?

– Не знаю, – с тревогой ответил Микель. – Вот, потрогай.

Он положил руку кузена себе на грудь. Тот отдернул ее как ужаленный. Потом протер глаза и вернул руку на то же место.

– Вот черт! Что же это такое?

– Не знаю.

– Блин. Надо твоим родителям сказать.

– Их дома нет. – (Бум-ба-рам-бей-бум.)

– Тогда бабушке. Дяде Маурисию.

– Да они помрут от страха. Ничего, пройдет.

– Блин. Да что ж это за зараза такая? – Рамон, несмотря на свою безупречную карьеру, совершенно не умел разговаривать по-человечески, чем приводил в ужас свою мать, умиравшую от стыда каждый раз, когда ему случалось матюгнуться в присутствии Лали Брос. Он еще раз протер глаза и начал философствовать: – Во, блин, херня, мать твою… Слушай… А так? – Тут он перешел от слов к делу и опять положил руку мне на грудь. – Как ты себя чувствуешь-то?

– Да так, пересрался немного. А вообще ничего.

– Вот и я тоже.

– Тоже ничего?

– Тоже пересрался.

Опытный врач умело успокоил больного. (Не беспокойтесь, мой дорогой. Девять из десяти пациентов, ясное дело, умирают на операционном столе, но ведь это не значит, что вам не повезет, не вижу повода для паники; жаль только, что руки у меня дрожат.) Сердце мое сказало еще «бам» там, где раньше было «бей» и «бум». Рамон с каждой минутой все больше приходил в себя:

– Ведь это может быть тахикардия, правда?

– В яблочко.

– Это от нервов. Точно от нервов. А то бы ты уже давно откинул копыта.

(– Если не введем ему сыворотку, умрет, не доехав до операционной. – Как! А вам, значит, все равно? – Нет, мне не все равно! Вы мне всю статистику испортите!)

Консилиум врачей решил пока никому ничего не говорить, даже дяде, жившему на

верхнем этаже, предназначенном для прислуги, в такой же просторной комнате, как и все остальные, но гораздо более прибранной. Доктор Рамон Жиро уложил своего кузена доктора Микеля в постель и с высочайшим профессионализмом порекомендовал ему: «Отдохни, полежи, расслабься, и все само пройдет, братан». И поставил научно обоснованный диагноз: «Зуб даю, это от нервов». Рамон сел на деревянный стул с резными цветами, на тот самый, на который села тетя Карлота, чтобы умереть, глядя на своего мужа, и с которого бабушка Амелия следила за медленным угасанием тети Элионор; почему в жизни всегда столько боли?

Снова оказавшись в темноте, Микель продолжал слушать беспокойное биение своего сердца, ни капельки не расслабляясь. Через некоторое время раздалось: «Ну что, пацан, как оно там?» – и он вздрогнул.

– Ничего. Все так же. – (Бум-бум, ба-рам-бей.)

– Да ладно, мужик, расслабься и не нервничай, ситуация под контролем.

Через пять минут я услышал, как он тихонько захрапел, и мне стало очень страшно от мысли, что я запросто могу умереть в одиночестве. И я мучительно позавидовал спокойствию Рамона, потому что, серьезно: зачем мне нужно было соваться в политическую борьбу? Что мне мешало жить как все? «Если авангард общества дремлет, восстание масс невозможно». Почему два года назад я собирался обращать сенегальцев в истинную веру, а теперь занялся обращением буржуазии? Кто просит меня соваться куда не следует? Сердце продолжало судорожно биться. Я подумал, что до утра я, скорее всего, не доживу, и с некоторой грустью простился сам с собой. Рядом храпел дежурный врач Рамон Жиро – безмятежно и с чистой совестью.

Микель Женсана не умер от тахикардии. Точнее говоря, он к ней привык, потому что с того момента она для него стала делом обычным. А жизнь продолжалась, как и борьба. Нас было гораздо больше, чем они были готовы признать, и май шестьдесят восьмого года был уже не за горами. Рамон женился. На свадьбе гуляли два счастливых семейства, и только Микель, сидя в отдалении и не желая принимать ни в чем участия, несколько свысока смотрел на все эти пережитки прошлого, зачем-то повторяющиеся из поколения в поколение. Когда принесли шампанское, я произнес красивой и обаятельной девушке, дальней родственнице, имени которой толком не помню, агитационную речь о том, что для создания нового общества следует избавляться от устаревших традиций. Наверное, эта родственница меня после этого терпеть не может, потому что двумя годами ранее, на крестинах ее братика, я совершенно убедил ее в необходимости миссионерской деятельности.

В начале семидесятых годов по неизвестным науке причинам статистика указывала на необыкновенный рост числа больных эпилепсией среди мужского населения Испании в возрасте от девятнадцати до двадцати четырех лет. В медицинских кругах даже стали поговаривать о возможном эпидемическом характере этого явления. Однако дело было в том, что десятки юношей-призывников предоставляли в соответствующие инстанции справки из военного госпиталя, в которых была отражена безукоризненная картина заболевания эпилепсией, – именно такая картина получается, если не спать несколько ночей подряд, подкрепляясь время от времени тщательно рассчитанными глотками водки, заранее разлитой в бутылочки из-под одеколона. Некоторые, конечно, сделали таким образом первые шаги на пути к циррозу печени, но многие при тайном содействии врачей были признаны не годными для службы Родине, откосили от армии и приготовились служить своей стране даже

с оружием в руках, если это будет необходимо. Микель, Болос, Чандри, Аугуст Маруль… Ни один из товарищей Микеля не служил в армии, большинство – благодаря внезапно обнаружившейся эпилепсии, некоторые – из-за опасного обострения неврита седалищного нерва или недержания мочи и только очень немногие – на совершенно законных основаниях, из-за плоскостопия или неясного ви́дения жизни, чем мог бы воспользоваться и Микель Метафизически Близорукий, сэкономив таким образом несколько фляжек водки. Хотя, возможно, в то время я еще ясно видел контуры вещей.

И, как многие другие, я вышел из Объединенной социалистической партии Каталонии через левую дверь. Мы с Болосом вышли из нее в один и тот же день, с тем же смутным тяжелым чувством, какое испытали в то первое воскресенье, когда не пошли в церковь, но с пропуском в страну безграничной мечты о том, как мы, с огнем надежды в глазах, дадим волю воображению и поднимем на улицах бунт. Микель Женсана, отпрыск замшелого древнего рода, шагал по жизни рука об руку с Болосом и с книжкой Юлии Кристевой[29] под мышкой, не зная, куда это все заведет, став свидетелем невероятного раскола левацких групп, которые по тактическим соображениям объявляли себя кто троцкистами, кто сталинистами, кто ленинистами, кто маоистами. Он пережил болезненный разрыв со старыми товарищами, избравшими другой путь, и им с Болосом еще повезло, что их взгляды совпали, потому что так проще было думать, что ты ничуть не ошибся. Микель не мог себе представить, что когда-нибудь они с Болосом смогут отдалиться друг от друга. Мальчишество. И раскол, подогреваемый радикальными идеями, обрек выбранную ими группу, или выбравшую их группу, на сверхсекретную подпольную деятельность. Много месяцев подряд на разных секретных квартирах города Барселоны многочисленные ячейки юных революционеров тратили энергию на вдохновенную агитпропаганду (интенсивный курс катехизиса), представляя основные истины в троцкистской, маоистской или сталинской трактовке и закаляя души. А это очень тяжело, когда в одной и той же жизни человеку – Болосу или мне (мы же с ним, Жулия, как братья) – закаляют душу тремя различными способами: сначала иезуиты, потом Партия и снова Партия. И каждый новый шаг был вероотступничеством, потому что все происходило как богоявление: воссиял свет, и все увидели Новый Путь, Новую Истину и Новую Жизнь и возблагодарили Бога или Историю за счастье быть их избранниками. И у нас на челе обозначилась новая морщина: морщина тех, кто знает, что Истина принадлежит им, tout court[30]. В порыве воодушевления, в самый разгар войны, Микель и Болос вступили в Партию. И по решению Центрального комитета мне была присвоена партийная кличка Симо́н. Девятнадцать лет назад отец Рока уже крестил меня и назвал Микель Пере Жауме Бенет Женсана-Жиро-Эролес-Сорт-Прим-Жисперт-Бардажи-Мальдонадо-Портабелья-Терсоль-и-Каймами. Но в этом новом крещении мне было дано имя Симон. Симон, я крещу тебя во имя товарищей, ячейки и демократического централизма, аминь. Ах, как бы обрадовался отец Бернадес, узнав в этом перекрещении Микеля в Симона воскресший образ одного из двух великих наречений новым именем из Нового Завета! «И Симон встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки, и привели в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил. Пока не признали его новым товарищем и не нарекли его товарищем Симоном». Для Микеля, хотя он об этом и не знал, самое главное было не остаться без правого дела. Без общества единомышленников. С самого дня моего крещения (Симон, рядовой член четвертой ячейки Центрального района), как только меня признали борцом за свободу, за первых христиан Антиохии и Эфеса, против диктатуры Франко, и членом Партии, я начал под ее эгидой свою истинную подпольную

жизнь, рука об руку с Франклином, еще одним восторженным новообращенным, ранее носившим имя Болоса, с которым произошло точно такое же чудесное преображение.

Я приехал домой как всегда, может, чуть-чуть пораньше, чем обычно, и сложил одежду в сумку; я засунул туда пару книг Брехта и Евтушенко, отверг Борхеса и Жузепа Пла[31] как не соответствующих обстоятельствам и с девятнадцатилетней жестокостью пошел поцеловать на прощание мать, которая сидела одна там, где сейчас расположен столик neuf[32], у торшера, с очками на кончике носа, очень сосредоточившись на штопке носков, в облаке негромких звуков радио, которое всегда стояло неподалеку.

– Я ухожу, мама.

– Прямо сейчас? К ужину возвращайся.

– Нет, мама.

– Куда ты собрался?

– Я ухожу.

– Это я уже слышала. Куда?

Мать подняла голову от работы (она как раз штопала мой носок), встревоженная чем-то необычным в голосе Микеля.

– Зачем ты взял сумку? Что случилось, сынок?

– Мама, я ухожу из дома.

– Но…

– Не волнуйся, все в порядке.

– То есть как «все в порядке»? Ты о чем?

Она отложила работу в корзинку, но стеклянное яйцо для штопки весело покатилось по полу гостиной. Микель наклонился поднять его и положил обратно в корзинку. Даже сейчас, двадцать пять лет и бесчисленное множество стаканов виски спустя, я все еще помню звук, раздавшийся, когда упало это яйцо, Жулия. (Но он не сказал ей, что яйцо остановилось именно там, где сейчас были ноги официанта, осквернявшего его воспоминание, и Жулия слегка улыбнулась, и продолжала молчать, и слушала, не начиная есть.)

– А, Микель?

– Я ухожу из дома, мама. – И с некоторой гордостью: – Из соображений безопасности.

– Безопасности? – Мать (бедная мать, ничего не понимавшая в моей жизни с тех пор, как я перестал быть ребенком) сняла очки. – От кого ты бежишь?

– Прямо сейчас – ни от кого. Но я не хочу, – тут Микель почувствовал себя героем, – чтобы вас преследовали по моей вине. А ты не волнуйся.

Госпожа Мария Жиро де Женсана, моя любимая мать, которая, похоже, пережила все самые важные моменты и своей, и моей жизни «вне игры», взволнованно встала. Она взяла сына за руки: страх всех матерей той эпохи становился явью.

– Ты что, в политику ввязался, сынок?

– Тебе лучше ничего не знать. – (Богарт, не меньше.)

– Предупреждал же тебя отец. И куда ты теперь собрался?

– Я не могу тебе этого сказать, мама. Я время от времени буду слать тебе весточки. Ну правда, не волнуйся. – Я поцеловал ее в лоб.

– А папе ты сказал? – Последняя надежда, слезы в глазах.

– Да как же я… Отец меня никогда не поймет. – И я попытался облегчить себе жизнь. – Скажи ему лучше ты, мама. И бабушке. Просто скажи ей, что я уехал по делам.

– А это обязательно делать прямо сейчас? Ты не можешь повременить чуть-чуть и как

следует подумать?

Микель взял дорожную сумку. «Ладно, мама, не волнуйся, ничего страшного в этом нет». И исчез в темном коридоре. Он оставил короткую записку на столе у дяди («Дядя, когда я вернусь, уверен, настанут лучшие времена») и у Рамона («Пацан, позаботься о моих предках, все нормально»), закрыл за собой стеклянную дверь, на которой еще не было налеплено никаких наклеек с названиями кредитных карточек, и спустился по лестнице дома Женсана в погоне за мечтой. Он даже не обернулся и не поглядел ни на земляничное дерево, ни на свое прошлое.

8

А теперь я стоял перед дверью, захлопнув которую я в первый раз сбежал из дома, даже не оглянувшись (метрдотель был очень удивлен челночными перемещениями непрезентабельного клиента, который не мог спокойно усидеть на месте и пяти минут), и перед носом у меня маячили постыдные наклейки. Дело в том, что, рассказывая о своем бегстве, я внезапно воспылал любовью к земляничному дереву и, сказав: «Извини, Жулия», опять встал, а когда вышел в сад, мне показалось, что земляничному дереву и без меня хорошо. Я подошел к нему, чтобы услышать в шепоте листьев неясный отголосок дядиного секрета. Но слышен был лишь стрекот сверчков да еще равнодушный, слегка отдаленный шум шоссе Фейшеса. И я вздохнул, потому что во мне теперь не было живой страсти, которой жил Микель Че Женсана, а главное, уже и не будет, потому что я навсегда потерял невинность и, говоря словами дяди Маурисия, в лучшем случае мог бы рассчитывать на звание Микеля-Мартина Женсаны Гуманного[33]. Конечно же, мне было грустно. И жалко себя.

– Я плакал много горше, когда умирали мои родители или сестры… сводные сестры. И мои Микели, которые тоже все умерли. И то, что твой отец… – В облике дяди Маурисия ощущалась неловкость. Он набрал воздуха и выдохнул его со словами, прекрасными, как его бумажные фигурки. – Это и есть настоящая грусть. – Дрожащим платком он вытер со лба пот, которого там не было. – Дом, даже если мы его потеряем, – всего лишь груда камней. – Он улыбнулся Микелю, положил полуободранную пальму на столик и взял в руки еще одну фигурку. – Тебе нравится этот абиссинский лев?

– Очень. Когда-нибудь ты должен научить меня делать таких. – Микель любовался сноровкой, с которой дядя дрожащими пальцами складывал эти фигурки.

– Ты всегда мне одно и то же говоришь. А эта танцовщица? – Глаза у него блестели. Он пытался от меня что-то скрыть. – Меня вдохновил Дега, я видел его в Jeu de Paume[34], когда мы ездили туда с твоим отцом.

– Я привез тебе еще бумаги, дядя.

– Это было в двадцатых годах. Спасибо, сынок. Здешним, похоже, не нравится, что я занимаюсь оригами. Особенно Саманте.

– Да кто же она, эта знаменитая Саманта? Я с ней до сих пор не познакомился.

– Командир этажа.

– Блондинка?

– Блондинка. Грудастая такая… Знаешь, она мне напоминает кролика Томаса.

И он начал ему рассказывать о путешествии в Париж двух одиноких мужчин, готовых

завоевать весь мир, на цыпочках обошел тему парижской ночной жизни (дядя время от времени страдал приступами скромности; по крайней мере, я так думал, пока не узнал его настоящую историю) и, перепрыгивая с одного на другое, дошел до того дня, когда он переехал жить в родовое гнездо Женсана как полноправный член семьи, еще до перестройки дома, перед самой войной. «Перед Первой мировой войной, но тогда ее еще не называли Первой, потому что не думали, что может случиться Вторая. Дед Тон (Антоний Женсана Третий, Фабрикант, известный также как Сукин Сын) сделал на ней солидные деньги, я его не критикую, он заработал их, вкалывая как проклятый. Да я и в принципе не могу судить папу Тона. Они с мамой Амелией спасли меня от беды. Они – мои родители, Микель. Но и перестать ненавидеть его я не могу, потому что он же меня и уничтожил».

– Расскажи мне, что у вас случилось с дедом Тоном…

Стены комнаты в клинике онемели, чтобы лучше расслышать признание дяди Маурисия. Но он сглотнул, стал дышать ровнее и продолжил рассказ, как будто я его и не прерывал. «И тогда у деда Тона появилась серьезнейшая проблема: он зарабатывал столько денег, что надо было их как-то тратить. Я тогда уже родился, но жил еще со своими родителями, в родительском доме, и был счастливым ребенком, полагавшим, что жизнь состоит в том, чтобы просто дышать. А о родителях у меня остались такие смутные воспоминания, что иногда я думаю, что сам их выдумал и сыскать их можно в волшебных сказках.

Дело в том, что господину Антонию Женсане Третьему, Автомату по Массовому Производству Денег, твоему деду и приемному отцу знаменитого мастера оригами Маурисия Безземельного, пришло в голову рассказать о своей мечте о перестройке дома архитектору Мункунилю, хорошему специалисту, в некоторой степени визионеру и художнику, который был не чужд волшебных чар карфагенца Гауд-Ди и зарабатывал хорошие деньги в Фейшесе, потому что в то время строили очень много. Они переговорили об этом несколько раз за чашечкой крепчайшего кофе, который оба любили, в раскидистом саду дома Женсана, тогда еще не ставшего моим домом. Идея состояла в том, чтобы сделать перестройку, убрать часовню, надстроить еще один этаж, изменить внутреннюю планировку и в общем и целом сделать все чуть более рациональным. И если нужно будет расшириться, земли вокруг дома хоть пруд пруди. У Антония Женсаны были идеи, а архитектору Мункунилю только того и надо было, чтобы кто-нибудь распалил его фантазию. Ты был с ним знаком, Микель? Такой с усиками, с ушами вроде виноградных листьев. Он был младшим братом отца Мункуниля, автора „De verbi divini incarnatione“[35], помнишь?» А я: «Да откуда мне об этом помнить?» А дядя: «Ну как же, ведь у деда Маура было полное собрание сочинений отца Мункуниля, и он читал нам из него фрагменты, чтобы мы слушали звучание нежных латинских глаголов, ты же помнишь?» Дело в том, что он на несколько мгновений спутал меня с отцом, и я подумал, что, хотя дядя и зовет меня Микелем, ему, наверное, всегда кажется, что я нечто вроде реинкарнации его любимого Пере… А может быть, и ненавистного.

И вот я снова стал Микелем, то есть самим собой, потому что дядя говорил: «Микель, твой дед Тон натолкнулся на яростное сопротивление своего отца, в планы которого совершенно не входило изменение Вергилиева пейзажа, воспетого им в таких бессмертных и безнадежно прекрасных стихах:

О, ветры в чащах боязливых древ,
Потоки чистые неведомых желаний,
Где дом отеческий хранит огонь лобзаний

Лучей, что гасли, в небе пламенев.

– Ты никогда не любил прадеда Маура.

– Ты думаешь, я мог благосклонно относиться к поэту, любимое слово которого «неотвратимо»? – Он отвернулся и стал сердито рыться в коробке с бумажными животными, перемешивая абиссинских львов с малюсенькими слонами и гигантскими птицами. – Но в глубине души я поэту симпатизирую. Он был одной из моих жертв.

И потому, когда сын спросил его мнения и отеческого благословения на то, чтобы разрушить часть дома и построить такой особняк, какой угодно бы было видеть Богу с небес и администратору его расчетного счета, поэт энергично воспротивился и представил в качестве неоспоримого аргумента триста двадцать девять стихотворений, к тому моменту написанных им в доме Женсана. Антонию, который имел достаточно здравого смысла, чтобы оставить при себе имевшееся у него мнение относительно отцовского творчества, пришлось повести переговоры с большим тактом и пойти на серьезные уступки в отношении проекта, к ужасу в отчаянии качавшего головой Мункуниля, на глазах которого отправлялись ко всем чертям его самые лучшие идеи. В конце концов, чтобы окончательно убедить упрямого поэта, его сын пошел на приемлемые для обеих сторон уступки в отношении четырех или пяти переделок и согласился, чтобы комната бабушки с дедом была расположена в передней части здания. В запале, чувствуя, как победа с каждой минутой становится все ближе, дон Антоний Женсана экспромтом произнес речь, в которой говорилось: «Чего бы еще я, молодой отпрыск древнего рода Женсана, мог пожелать, кроме как связать имя нашей семьи, уже облагороженное музыкой благодаря нашему прапрадеду Сортсу[36], а теперь вознесенное к небу священным искусством поэзии (нежный взгляд на отца) со славным искусством Льюиса Мункуниля, с искусством, выраженным в камне, объемах и пространстве? И если бы мне была дозволена такая смелость, я бы заметил, что имя Мункуниля так же не-от-вра-ти-мо связано семейными узами с именем возлюбленного отца Жуана, автора „De vera religione“[37], столь дорогим всему нашему дому». И надо бы ему раньше об этом напомнить, поскольку этот довод стал для деда Маура решающим, несмотря на недоверие, которое ему внушали молоденькие архитекторы. Естественно, дон Маур уступил прекрасным словам, идущим от сердца, как любой человек, всю свою жизнь посвятивший созерцательному безделью, постоянно витающий в облаках и глядящий на звезды в поисках самого прекрасного и воздушного александрийского стиха.

– Часовню трогать не будем. Во всем доме сделаем паровое отопление. Платить за все буду я, папа.

– Оставим блеск метафор.

– Что?

– А ведомо ли тебе, каков источник оных денег?

– Ну да, фабрика.

– Неблагодарный! Кто есть этой фабрики властелин и хозяин?

– Фабрика принадлежит тебе. Но руковожу ею уже давно я. А значит, деньги…

– Довольно риторических фигур! Никто не волен распоряжаться деньгами на постройку, кроме меня самого. Сие же равнозначно семейству, ведь деньги мои.

– Ладно, пусть платит семейство. Твоими деньгами.

Это была последняя стадия переговоров. Все присутствующие хранили благоговейное

молчание, пока поэт предавался размышлениям.

– Об этом надобно подумать, – наконец объявил он, прерывая молчание.

Но все сидящие за кофейным столиком понимали, что это было сказано исключительно ради красного словца. И действительно, через несколько дней дед Маур сообщил сыну радостную весть о позволении начать работы при том условии, что в саду не будет срублено ни единого дерева, вдохновившего его на создание стольких прекрасных поэтических строк.

– Договорились. Мункуниль, действуй.

Архитектор позвал подрядчика: работать нужно было быстро, потому что господа не желали, чтобы в их доме долгое время было все вверх тормашками. Это совпало с месяцами беременности жены Антония Амелии, которая ждала Эльвирочку. Бедняжка Амелия, у которой недавно появился приемный сын, то есть я, Маурисий Безземельный, за юбки которой держались Пере и Элионор, без потерь пережившая Войну имен, теперь должна была перебираться в квартиру в Фейшесе на то время, пока идут работы, которые, что бы там ни говорили, состояли скорее не в переделке старого дома, а в постройке нового. От прежнего особняка, за исключением сада, осталась только часовня. Какая же это суматоха, переезд в квартиру! И не найдешь, где рубашонки, то ли в сундуке, то ли в бауле.

Окончание работ по переделке здания праздновали тридцатого апреля, не помню какого года, но во время Первой мировой войны, и праздник этот пышностью надолго запомнился многим жителям Фейшеса. Открыв дверь (на которой еще не было наклеек с названиями кредитных карт) перед своей изумленной женой Амелией и спросив: «Тебе нравится?» – и услышав, как она отвечает: «Да, просто невероятно, Тон… Это… Это же… Такое впечатление, что дом выстроили заново. Это, наверное, обошлось очень дорого, Тон», на что он сказал: «На то и деньги, когда они есть, чтобы их тратить», дед Тон открыл двери своего нового особняка для обитателей Фейшеса на весь вечер. Дом наполнился любопытными горожанами, готовыми раскритиковать любой его недостаток и удовлетворить свое любопытство относительно уже тогда знаменитого сада и относительно самого здания, которое снаружи, говорят, похоже на замок из сказки. Хотя было еще не жарко, Антоний Женсана Третий, Меценат, заказал оркестр и разместил его у пруда, который блистал высокомерным семейством лебедей, восхитивших дам высшего общества Фейшеса – они подошли поближе, чтобы ими полюбоваться. Под сенью эвкалиптовых деревьев какой-то робкий молодой человек осмелился попросить руки и сердца своей возлюбленной и получил трепетное согласие под звуки Бизе или Берлиоза. У зарослей кипариса в душу фабриканта Ригау Комамала, кузена тех Ригау, что жили на Ками Фондо[38], главного конкурента Женсаны, вселилось еще больше ненависти, и зависть его была искренней и горькой. И праздник продолжался в мире и согласии.

Когда ушел последний гость, вся семья облегченно вздохнула и приготовилась жить в новом доме. Семья в то время состояла из дона Антония Третьего, Богача, и молоденькой мамы Амелии (Амелии Царицы всея Фейшеса), а также бедняги Маурисия Печального, который уже начинал улыбаться и чувствовать себя как дома, несмотря на то что все еще был удивлен, что мама и папа все никак не вернутся из своего невероятно долгого путешествия на небо. Кроме того, в семье было трое детей: Пере, Элионор и полугодовалая Эльвира, которая счастливо провела весь праздник в обществе няни в южном крыле особняка, не обращая ни на кого внимания. А еще Женсана-старшие, бабушка и дед. Бабушка Пилар, чей взгляд скрывал тайну, о которой я расскажу когда-нибудь потом, была взволнована и молчалива, прежде всего потому, что окна ее комнаты выходили на очаровательный уголок сада. И дед

Маур Второй, Прославленный, обратил в камень не одного подвернувшегося ему под руку неосторожного гостя, безжалостно втолковывая в течение всего торжества, как на экскурсии по святым местам, под каким деревом и в какое лето он сочинил ту или другую поэму. А еще там было пять человек прислуги. Семейство Женсана, радостное и счастливое на пороге безмятежного лета, даже и не подозревало, что очень скоро для них настанет и первая зима беды.

Все четверо детей, считая присоединившуюся к ним примерно через год твою тетю Эльвиру Молодую, сразу же полюбили этот новый дом и сад. Они любили дом, потому что в нем можно было без конца открывать что-то новое. Под моим руководством, потому что я был старший, они исследовали такие неизведанные дали, как кухня, или спускались по лестнице с тонкими железными перилами во владения Розы, где в тазах громоздилось грязное белье и стояло два огромных корыта для стирки, казавшиеся им бескрайними морями, а в крошечном, почти потайном дворике развешивали белье. За белой дверью скрывалась гладильная. И разные полочки, и вешалки, на которых выглаженная одежда ждала, когда Грасьетта или Мария отнесет ее в шкафы обитателей дома. Дети обычно собирались в бельэтаже, в комнате, где время от времени их развлекала Мария, и там играли. Изредка им разрешали спуститься в гостиную на первом этаже, где стояло механическое пианино; у отца там было кресло, в котором он никогда не сидел, потому что вечно пропадал на фабрике; в гостиной проводили время бабушка с дедом. Бабушка Пилар вязала, сидя на диване, и думала о своем, а дед Маур ходил кругами или же садился за письменный стол в библиотеке, возле рояля, и клял неприличную бессодержательность стихов некоего Лопеса-Пико[39], которому он угрожал несколько бессвязным «настанет день, и вновь я подымусь, и песня моя взовьется!». И счастье было во всем, потому что твоя бабушка обещала мне, что, каким бы долгим ни был путь, я когда-нибудь снова увижу родителей. (И Микель нервно глотал слюну, потому что это единственное, что можно сделать, когда перед тобой семидесятилетний старик говорит о своих родителях со слезами на глазах.) Мы с Пере жили в одной комнате. А Эльвира и Элионор в соседней, той самой, в которой с течением времени поселился Микель Женсана Второй, Нерешительный.

– Почему ты так меня называешь?

– Потому что ты никогда не берешь быка за рога. Ты ни в чем не уверен.

– Откуда ты знаешь, дядя?

– Это по движениям рук заметно. А еще ты с утра до вечера пытаешься перед кем-то оправдываться. – И он опять стер со лба пот, которого там и в помине не было. – Неплохо было бы тебе отдыхать время от времени. – Дяде Маурисию, когда он мне об этом говорил, было семьдесят пять лет, а я совсем недавно опять сбежал из дома, тридцати трех лет от роду.

Дядя несколько секунд помедлил и продолжил свой рассказ, говоря, что на верхнем этаже был загадочный мир, где располагались комнаты Льюизы, Синты, Анжелеты, Розы, Марии и еще одной Марии, где хранились их вещи и их сокровенные тайны. А если была хорошая погода и детям разрешали пойти гулять в сад, всегда в сопровождении кого-нибудь из взрослых, им открывался необъятный и бесконечный простор, обширная вселенная деревьев, мощеные дорожки, стройные ряды кипарисов и вечнозеленого самшита, клумбы с розами и пруд с лебедями, которые молчаливо, как вопросительные знаки, царапали зеленоватую зеркальную поверхность и с горделивым безразличием оглядывали малышню,

прежде чем опустить голову в воду в поисках какого-нибудь приятного сюрприза. (Микелю вдруг стало ясно, что дом приходил в упадок постепенно: ведь он-то никогда лебедей в пруду не видел.) И стоило Марии зазеваться, как я бросал камень, пытаясь попасть в одного из лебедей. Как хороша была жизнь, Пере, то есть Микель. И Пере, который вечно пытался мне подражать, бросал камень как раз в тот момент, когда Мария оборачивалась на него, и его все время ругали. Пока всю эту безмятежность не исказила гримаса смерти.

Никто не мог предвидеть, что впервые после перестройки священник посетит этот дом, с тем чтобы совершить поминальный молебен. Даже дед Маур, так воспевавший атрибуты смерти:

Сурова и бесстрастна, Дама с Косой,
Закутав кости в черный саван свой,
В печальный зал тихонько входит
И ледяной цветок уносит, —

особенно в поэмах «Вечер» и «Закат», – не мог себе этого представить. Бабушка Пилар была уверена, что это было наказанием Божьим за ее тайну, о которой не знаю, решусь ли я когда-нибудь рассказать тебе, Микель.

А бедная девочка, надо сказать, до тех пор была совершенно здорова. Но проклятая лихорадка унесла ее с собой, измучив так, что от нее, бедняжки, остались лишь кожа да кости. И вот она умерла. Стояла зима, снега не было, но у детей все руки были в цыпках, потому что отопление тогда было одно название. Смерть, всегда несправедливая, унесла с собой Элионор, мою новую сестру, и все плакали горькими слезами, кроме Эльвиры, которая почти ничего не поняла. С того дня я проникся уважением к своему приемному отцу за то, что он закутал свою душу в толстое сукно горечи и с тех пор не осмеливался заговаривать с женой о смерти дочки, боясь увлечь ее за собой в глубины отчаяния. А потом я так его возненавидел, Микель! Бабушка Амелия, которая тогда еще не была бабушкой, скрепя сердце поплакала немного, совсем чуть-чуть, и посвятила себя живым детям и Маурисию. Мне иногда казалось, что она была бы рада, если бы вместо Эли умер я, но взгляд ее мне никогда не говорил ничего такого, так что я это выдумал, Микель. Бедная бабушка Амелия так до самой смерти и не одолела эту печаль, а прожила она, не знаю, лет девяносто. Она всю жизнь пыталась пережить эту боль. Почти такую же невыносимую, как та, которая выпала на ее долю пятнадцать лет спустя, ведь для человека нет ничего хуже, Микель, чем смерть собственного ребенка, и, может, потому-то у меня и нет детей. Бедная мама, она так и не оправилась от этого удара, от воспоминания о том, как она сидела рядом с дочерью, а бедняжка Элионор, которая даже есть не могла, а только плакала, тяжело дыша, с лихорадочным блеском в голубых глазках, спрашивала у стен и тишины, почему ей так плохо: «Мамочка, я хочу поправиться», и донья Амелия, скрепя сердце и улыбаясь, говорила ей: «Ты поправишься, Эли, вот увидишь, и побежишь играть с братьями и сестрой». А дон Антоний, стоя в дверях комнаты, но не решаясь войти, мысленно бился головой о стену: «Как, Боже, как это возможно, почему это происходит? Почему малышка так страдает, а я, денежный мешок, бессилен ей помочь?» И Элионор на несколько минут переставала думать, потому что ее сотрясал приступ кашля, а когда он проходил, она смотрела всеведущим взглядом, как человек, чующий, что смерть рядом, с вопросительным ужасом в глазах, на своего старшего

брата Пере и на кузена Маурисия. Стоя на пороге комнаты, в которую поселили больную, чтобы она не заразила остальных, мы тихонько спрашивали ее: «Как ты себя чувствуешь, Эли?», и она отвечала: «Хорошо, мне лучше, скоро пойду играть». А Амелии от печали хотелось умереть на месте, и нам тоже.

– А где Эльвирочка? Почему вы ее ко мне не приносите? – спрашивала иногда Элионор. И мать, худевшая так же быстро, как и больная, отвлекала ее занимательной сказкой про кролика Томаса, потому что доктор Каньямерес запретил детям подходить к больной. И в этой сказке донья Амелия мешала свои слезы со слезами героев, не возбуждая подозрений потихоньку таявшей девочки. И в памяти ее навсегда сохранились взволнованное лицо и блестящие глаза дочери, обливающейся пóтом, до тех пор пока, после страшнейшего приступа лихорадки, она не угасла, не понимая, что умирает, и не думая ни о чем, кроме головной боли и нелепой сказки, которую рассказывала ей мать, про кролика Томаса, который жил в саду и на которого мы пойдем смотреть, как только ты поправишься, доченька, доченька, доченька… И она провела рядом с ней час, три часа или, быть может, тысячу часов, сидя на стуле с резными цветами, на стуле печальной смерти, держа ее за ручку, остывающую в ее руках, и чувствуя себя виноватой, потому что не умирает сама вместо этого ангелочка, у которого даже не было времени ни приноровиться к жизни, ни понять, что смерть такова, какая она есть.

– Она умерла, Амелия.

Она почувствовала руку мужа у себя на плече еще до того, как услышала эти слова. И только тогда она позволила себе заплакать и смешать свои слезы с сухим пóтом Элионор. И эту беспомощность она запомнила на всю жизнь. И во всей нашей семье осталась память об этой болезни, Микель, и она до сих пор у меня вот здесь, а прошло сто лет.

– Шестьдесят.

– Шестьдесят. И все плакали. – (По щеке дяди Маурисия катилась голубая слеза – какая же все-таки сила у воспоминаний!) – Все-все, даже служанки, плакали, и продавец льда, у которого усы были как у Фу Манчу[40]. И когда унесли холодное тельце Элионор в белом гробике, казалось, что дом Женсана увял и состарился, потому что с момента его постройки в конце восемнадцатого века это был первый умерший в нем ребенок. И вот поэтому мы и называем комнату, где она болела и умерла, комнатой Эли, правда, Микель? – (Да. Даже когда Микель и его двоюродные братья играли там тридцать лет спустя полноправными владельцами особняка и тайно переименовали все укромные места дома и сада – Темная хижина, Зеленое озеро, Уголок с магнолией, Каштановый дворик, Черепашья дорога, Чердак с привидениями, – им никогда и в голову не приходило, что эта просторная и хорошо освещенная комната с окнами на заднее крыльцо, в которой никто не жил, может называться как-то иначе, чем «комната Эли»).

Разумеется, я и подумать не мог, что однажды с нашим домом и с комнатой Эли произойдет нечто такое, что позволит дирекции «Красного дуба» сделать в ней очень миленький кабинетик, в котором Майте Сегарра будет принимать посетителей, если они когда-нибудь явятся. И яркий плакат Вазарели[41] будет висеть как раз над тем местом, где стояла кровать, на которой Эли исходила смертным пóтом.

9

Подобно тому как футбольный клуб базируется на первом ядре, в котором находятся игроки и тренеры, на втором – членах клуба и разных симпатизантах и на третьем – собственно руководстве, многочисленные подпольные группы, что вращались как вблизи, так и вдалеке от Партии, как и сама Партия, состояли из центрального ядра (игроков и тренеров, то есть заслуженных и маститых членов Партии, которым пришлось уехать за границу) и второго – членов клуба и симпатизантов, в число которых входили и мы с Болосом, кто работал в полуподполье, без постоянной прописки, и был вынужден зарабатывать себе на хлеб где придется.

– А как же ядро директоров?

Директора в руководстве футбольных клубов покуривали сигары. В руководстве Партии курить сигары не могли, поскольку тайная подпольная деятельность не позволяла им работать; если кто и работал, то только те, кто имел собственное дело, как Голубоглазый, у которого был газетный киоск. За три месяца мы четыре раза переезжали с квартиры на квартиру: с улицы Амилькар на улицу Манигуа, потом на Фелипа II, потом на Эскосию, все в одном и том же районе. Симон Отверженный на собственном опыте усвоил евангельское правило о том, что следует идти по жизни налегке – «ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de mar»[42]. Все его пожитки умещались в старую темно-зеленую матерчатую сумку, которую купил дядя Маурисий после войны, когда с нетерпением ждал весточки от любимого человека. Там лежали три смены белья, пять рубашек, свитер, расческа с зубной щеткой и книга («Le moderne état capitaliste et la stratégie de la lutte armée: Group Baader-Meinhof»[43]). И вечные разъезды в соответствии с краткими и строгими приказами сверху или теми, что отдавал Голубоглазый.

На улице Амилькар и на Эскосии судьба вновь свела его с товарищем Франклином. Глаза у них сверкали от беспрестанной лихорадочной деятельности: Симона, Курносого и Наталию послали работать на завод по производству деталей для электрической техники, чтобы они, как лица буржуазного происхождения, на собственном опыте узнали, как живется рабочему классу, каковы его умственные, физические, экономические и интеллектуальные границы, и встали на путь освобождения от первородного греха своей потомственной непринадлежности к пролетариату. В первый рабочий день, ежась от холода в своем единственном свитере, Симон Первый, Работяга, рядовой член ячейки района Конгресса, вступивший в Партию с момента возникновения достойных сожаления разногласий с ревизионистской группой бывших товарищей из Объединенной социалистической партии Каталонии, с бьющимся сердцем вошел в ворота электрозавода «Вихрь», отдавая себе отчет в совершаемом им скачке из бессодержательной мещанской жизни в Храм производства, где Рабочий Класс Кует Свое Будущее. (Товарищ Симон чуть не расплакался от умиления.) И жаль, что рядом с ним не было товарища Франклина с галстуком в кармане, но так уж устроена подпольная деятельность, что ты то здесь, то там, то ты Микель Женсана, то товарищ Симон, то рабочий электрозавода «Вихрь» Рикард Монтеро с мастерски подделанным паспортом, на полпути к раздвоению личности, как захудалый театральный актеришка.

Но в жизни рабочего времени на психбольницы не было. Когда каждый день начинаешь работу в семь утра, это предотвращает целую серию припадков. Правда, когда целый месяц делаешь одну и ту же катушку, начинаются нервные приступы другого типа.

Желание Быть Частью Храма Производства (и тем самым искупить свое происхождение) продлилось недолго. Вскоре он понял, что в товарище Наталии рабочие

видели не товарища по классу, а сиськи да зад. Разговоры о политической ситуации, осторожно заводимые во время завтрака или между катушкой и катушкой, отскакивали от соседа как от стенки горох, ему не до изысков было, а как бы вот раздобыть телевизор подешевле, чем в магазине. Оказалось, что начальник цеха (полурабочий-полунаемник, ни рыба ни мясо, хороший парень, на зависть многим, хоть и продажная шкура) в вопросах пунктуальности строг и спуску не дает, он три раза оштрафовал его за опоздание на полчаса (все три раза – после вечернего собрания ячейки, затянувшегося дольше обычного). Так что новоиспеченный рабочий пришел к выводу, что все это – страшная гадость и жизнь гораздо тяжелее, чем о ней пишут в учебниках.

Товарищ Симон, ухитрившийся избавиться от некоего Микеля Женсаны так успешно, что никто, кроме домашних, не скучал в его отсутствие, был, несмотря ни на что, в общем и целом счастлив. За чтением «Государства и революции»[44] он позевывал и клевал носом, и понемногу его начала грызть такая мысль: «Слушай, а не ерундой ли мы занимаемся? Пока мы тут делаем катушки, Льятес уже на третьем курсе, и две статьи опубликовал, и собаку съел на современной истории». Дело в том, что, если бы революция произошла прямо сейчас, тогда еще ладно. И мне вдруг страшно захотелось все ускорить и сделать так, чтобы сознательные передовые люди (мы на собраниях ячейки тогда как раз обсуждали «Апрельские тезисы») встали наконец у руля и поспособствовали приходу революции – и по домам. (Встречайте партизана цветами и поцелуями.) В глубине души я наслаждался мелкобуржуазными мыслями, и мне было адски (не потому, что я верил в ад, а фигурально выражаясь) трудно мириться с реальностью, всегда гораздо более неторопливой и занудной, чем мечта. Совершенно без всякого осознанного умысла все книги, которые оказывались в нашей квартире, оседали в руках товарища Симона. Кроме обязательной к прочтению литературы, он глотал стихи, много стихов, и книги по истории. Он читал почти всё, за исключением романов, бесцеремонно мелкобуржуазного жанра, придуманного исключительно для развлечения.

За скромным ужином (суп из пакетика и полсосиски) беседы с Курносым и Наталией особенным разнообразием не отличались. Время от времени происходили обсуждения какого-нибудь общественно значимого события, например того, что товарищ Вила разошлась с мужем.

– Да ну! А что случилось?

– А мне откуда знать. Хотя… Ну да, в последнее время у Жорди стали появляться очень… даже не знаю… очень ревизионистские замашки в быту.

– А-а…

– Симон, у тебя закурить есть?

– Держи.

– Спасибо. Короче, похоже, что он вообще палец о палец не ударял, все приходилось делать ей. Но это еще ничего.

– Не будь козлом! Это совсем не «ничего»: домашнее хозяйство – ответственность обоих, а не только женщины. Или ты хочешь возродить старые порядки…

– Да, блин, Наталия! Я хотел сказать, что это еще не все.

– А сказал, что это ничего.

– Серьезно, я хотел сказать, что это было еще не все.

– Принимаю твои извинения.

– Да не извинялся я перед тобой.

– Ребята, давайте-ка без… Погоди, а что там случилось у Жорди с Вилой?

– Да то, что он к тому же стал явно отклоняться от идеологической линии: во-первых, встал на защиту буржуазного искусства, а во-вторых…

– Ленин тоже вставал на его защиту.

– Елки зеленые, Симон, хоть ты меня не зли. Так о чем это я?

И Курносый, пресс-секретарь ячейки, обладавший потрясающей способностью узнавать все на свете последние новости, докуривая последнюю сигарету из моей пачки, сообщал нам, что Жорди до того дошел, что начал осуждать политику Советского Союза в отношении Чехословакии. И поэтому Вила с ним рассталась.

– А Рафа с женой? – Наталия тоже была не промах, и я отчаянно недоумевал, как же это я никогда ни о чем не подозревал и постоянно витал в облаках. – Она провела очень неоднозначную беседу о культурной ценности традиций, и Рафа сам загнал ее в угол своими вопросами. А теперь они так поссорились, что, наверное, прости-прощай. То есть больше не будут мужем и женой.

– Я думаю, что революционерам нельзя жениться.

– Как священникам?

– Вот черт.

– Нет, он прав. Жениться нельзя. Но трахаться-то можно.

– Как священникам.

Но мы не трахались. Как священники. Наталия была нам товарищем, мы ее уважали и с ног валились от усталости, и я еще ни разу в жизни не видел женщину обнаженной, но это я держал в еще более строгом секрете, чем то, что читаю Брехта, Эсприу[45], Леона Фелипе[46] и некоего Пабло Неруду[47].

Но в общем и целом ужины в ячейке проходили быстро и в молчании, и всем троим нам было тоскливо думать, что прощупывание почвы на заводе «Вихрь» оказалось бесполезным, наша энергия потрачена зря, а Центральный комитет уже серьезно обеспокоен тем, что на этом конкретном заводе не достигнуто никаких успехов, в то время как перед другими производственными центрами открывались блестящие перспективы. Но нам не хотелось оставить целый завод в руках сил ада (не потому, что мы верили в ад), и вся ячейка в полном составе умоляла Центральный комитет не приносить завод «Вихрь» в жертву расхлябанности и несознательности, и Господь Вседержитель сказал им, что если найдется пятьдесят сознательных рабочих во всем коллективе, то Он не истребит город Содом. И товарищ Авраам, после длительных переговоров (сорок пять праведников, тридцать пять, двадцать), понял, что терпение Господне имеет свой предел и что он сыт по горло. И вот тогда Господь задал решающий вопрос: «Сколько же, верный товарищ, сколько сознательных рабочих есть на заводе „Вихрь“?» И, сокрушаясь, товарищ Авраам признался, что только лишь Лот, его жена и две дочери; и Лота звали Венансио Бустос, он был сборщиком и имел некоторую склонность к троцкизму, легко поддающуюся исправлению (поскольку дурных намерений при этом не питал, а был введен в заблуждение по невежеству). И Господь сказал Аврааму: «Да будет Венансио Бустос членом Партии». И свершилось сие, и Господь отозвал своих верных с завода по производству деталей для электрической техники «Вихрь», потому что доводы Голубоглазого наконец возымели действие, и Центральный комитет, основываясь на конкретном анализе конкретной реальности все глубже впадавшего в маразм Франко, приступил к подготовке более решительной стратегии, чтобы напомнить диктатору и его лакеям, что рабочий класс не дремлет и готов к вооруженной борьбе.

У Голубоглазого было целых три имени. По-настоящему его звали Аллен, но в неофициальной обстановке товарищи звали его Голубоглазым. О третьем, довоенном имени он и вспоминать не хотел, потому что уже сто лет как вел подпольную борьбу, всегда с одним и тем же насмешливым и высокомерным выражением лица и с той же твердостью, и в волосах его была все та же проседь, и революция все так же приближалась. Это он обучал ячейку Симона и Франклина (которые, к счастью, уже воссоединились) азам вооруженной борьбы. Он научил их заряжать и разряжать автомат, поведал о надежных системах связи и как-то раз отвез их на пустырь неподалеку от горы Эльс-Энкантатс[48], где они с трепетом в сердце попрактиковались в стрельбе. Он появлялся и исчезал самым неожиданным образом и для многих был видимым главой всей партийной структуры. Но спрашивать о таких вещах было нельзя. И Симон Деклассированный, уже похудевший на шесть килограммов, потому что все, что можно, шло в фонд Партии, был счастлив и печален. Он жил в страхе, ходил с осторожностью, тосковал по красному пальто Берты, всегда оглядывался по сторонам, умел стрелять из пистолета и пестовал тахикардию, как будто во второй раз собирался отмазываться от армии.

Я прожил те годы, влекомый той внутренней силой, что помогает героям. Каждый, кто как-то протестовал, так или иначе вел жизнь героя. В то время все, что я ни делал, имело идеологическую подоплеку, точно так же как десятилетие или два назад нас учили, что во всем есть причина религиозного характера. И люди жили так же, как Рафа с женой или Вила с мужем: ссорились на идеологическим причинам и ругались из-за идеологии, на идеологической почве вместе спали и из-за идеологии спали врозь.

– Мне кажется, ты преувеличиваешь. – И она вонзила свои безупречные зубки в одну из тех оливок, что нам принесли на закуску.

– Да нет, Жулия.

Я воспользовался паузой и тоже съел оливку. И мне стало страшно, что сила слов заставит меня рассказать о чем-нибудь таком, чего, как мне думалось, Жулии знать совершенно не нужно, как, например, о том, что смерть Болоса не была несчастным случаем и что об этом пока что знаю только я, точнее – только я и убийца. И что поэтому я не смог выдержать взгляд его жены. Я выкинул из головы эту мысль и заговорил профессорским тоном, который любит Жулия, и сказал: «Послушай, дело не в том, что Барселона была полна непримиримых педантов и все они шагали в ногу. Это крайне упрощенное ви́дение вопроса. Но чувства зарождались в людях по идеологическим причинам. И то, что мы этим жили, непреодолимо вело людей к истерии. И точно так же как недра проспекта Грасия были в течение многих месяцев бесстыдно выворочены наружу, потому что под ним решили построить паркинг, многие люди жили, обнажив свою душу, и спрашивали себя, всегда ли жизнь будет так страшна и перестанем ли мы когда-нибудь тосковать о тех краях, где, как говорят, народ все просвещен, свободен и счастлив[49]. Поэтому Симон, бывший Микель, не мог не любить Брехта, не бредить стихами Евтушенко, не молчать осторожно о Маяковском и не знать наизусть всего Эсприу и Неруду. Прошло шесть или семь лет, пока Симон, Революционный Читатель, не понял, что „Veinte poemas de amor“[50] или „Страстная неделя“[51] просто хороши». Меня приводит в отчаяние то, что я не знаю, не терял ли я попусту время; единственное, что я знаю, – это то, что подобного рода эволюции в жизни читателя случаются редко или вообще никогда. И как и всегда, проблема в том, что в жизни нельзя переиграть ход. Когда Микель Женсана, бывший Симон, это понял, он уже парковал

собственную машину в старом подземном паркинге на проспекте Грасия.

Когда слушаешь концерт Мендельсона для скрипки с оркестром в исполнении Айзека Стерна, сидя в третьем ряду партера, испытываешь непередаваемое удовольствие. Это очень похоже на то, что чувствуешь, увидев вживую, в метре от своих очков, оригинал картины Ван Гога, репродукциями которой всегда любовался. Эта несвоевременная мысль, пришедшая мне в голову на заводе «Вихрь» во время упаковки двухтысячной катушки, была отвергнута товарищем Симоном как упадническая. Через несколько лет она снова пришла мне в голову и слегка облегчила трудное начало моих отношений с Терезой.

Задолго до того, как это стало возможным, Симон во второй раз переехал на новую квартиру и снова встретился с Франклином. (Радость этой встречи, хоть и не совсем революционная, была неизбежна. Оба скрыли ее под маской устрашающего безразличия и достойной Брехта холодности. Как будто бы не были героями драмы; как будто все происходило не на сцене.) В новой директиве, прошедшей обсуждение и зафиксированной на восьмидесяти шести страницах, сообщалось о необходимости присутствия семерых активистов, членов Партии, на интенсивных курсах в Бейруте. Симон, Франклин, Курносый, Кролик и еще трое активистов отправились в путь на двух машинах: одни в Андорру, за сливочным маслом, а другие – в направлении городка Пучсерда́ на французской границе, осматривать аптеку Льивии. Через два дня все они встретились в Тулузе, откуда незнакомые, но очень расторопные заграничные товарищи переправили их в Женеву, а оттуда – в Бейрут. Несмотря на то что первый долг революционера – не поддаться ослеплению потребительского и мелкобуржуазного мира, как только я вступил на землю свободной от диктатуры Европы, сердце у меня забилось сильнее, и я вспомнил, что здесь «народ все благороден, просвещен, богат, умен, свободен и счастлив», и этого мне, скорее всего, было бы предостаточно. Но я должен был любой ценой хранить верность революционной мистике и поэтому притворился, что не вижу Европы. И в сердце моем поселилась новая мечта: Бейрут. Я, скромный товарищ из района Конгресса, окажусь рядом со знаменитыми революционерами. И я почувствовал себя крошечным и счастливым, очень счастливым, но странным, очень странным образом. Особенно потому, что внутри товарища Симона скрывался Микель Женсана Второй, Вечный Студент, который тоже впервые видел Европу и Ливан и подозревал, что те вещи, которые товарищ Симон презирает со всем своим революционным пылом, могли бы оказаться ему очень полезными.

Тот месяц в Бейруте запомнился мне не тем, что там меня научили заряжать и разряжать шестнадцать видов винтовок и пистолетов, и не тем, что там я освоил азы обращения с двумя видами взрывчатки (бабушка Амелия всегда говорила, что лишних знаний не бывает), а тем, что там я узнал, что такое страх. И какое лицо у страха, живущего у тебя в сердце. В Бейруте у страха было лицо разорванного на куски мальчишки, который подорвался на гранате, оставленной посреди дороги его шестнадцатилетним зятем Акимом в качестве приманки для своего троюродного брата Али, который, будучи христианином, заигрывал с девушкой из Шатилы[52]. А еще у страха было лицо стены, наполовину снесенной израильскими бомбардировщиками и разрушенной взрывами, отрывавшими от нее по куску, и когда ты по ней идешь и вдруг раздается отвратительный стрекот пулемета – та-та-та-та-та-та-та-та-та, – и да, метит он в тебя, потому что в тот день в переулке Дождя на посту Оноре Батиль, а он не умеет сидеть сложа руки, да и вообще – ты же запросто можешь оказаться вражеским лазутчиком. В Бейруте у страха был вкус смерти, бессмысленной, за здорово живешь, смерти. Страх пришел ко мне не тогда, когда я учился заряжать и разряжать шестнадцать

видов винтовок, автоматов и пистолетов и обращаться с двумя типами взрывчатки. Ко всему этому можно привыкнуть. Страх я почувствовал особенно отчетливо даже не в Бейруте, а на хребте Курнет-эс-Сауда, и там он принял форму могущественного орла, который стремглав бросается на беззащитную ящерицу, дремлющую среди голых камней. Ящерицей был товарищ Симон из ячейки района Конгресса города Барселоны, зачисленный Партией бойцом Подразделения прямого действия, а орлом – израильский «Дуглас A-4N Скайхок», выполнявший карательную миссию на территории, которая, как он полагал, находилась под влиянием Палестины. Вот это был страх так страх, и я тогда спрашивал сам себя (очень похожим вопросом я задавался и несколько лет спустя, свисая с розового куста, росшего у фасада дома Женсана): «Какого лысого черта ты полез в эту заварушку, Микель? Дурак, балбес, бессмысленно целящийся из смехотворного автомата Калашникова в приближающийся из-за гор и нависающий над тобой „скайхок“, тупица, идиот, бегущий к сомнительному укрытию в трещине между голых камней, размышляя, как бы объяснить на пальцах этому пилоту, что ты здесь вообще проездом, блин, чтобы он понял, что ты к этой войне непричастен, что ты студент, ты на занятия приехал, мать твою!» И снова думал: «Кто просил тебя сюда соваться? Всю жизнь ты лезешь куда не следует, когда мог бы сидеть в удобном кресле в Национальной библиотеке или в университетской и, обложившись документами, писать научное исследование об израильско-палестинском конфликте, был бы на третьем курсе исторического факультета и, как Льятес, опубликовал бы две статьи, вот ведь мудак, и, может быть, и девушка бы у тебя была».

– Baissez la tête, Dieu![53] – заорал Камаль, научный руководитель моей докторской диссертации на этом курсе в университете Аль-Фаттах, вжавшись в скалу так, что стал похож на рисунок. И «скайхок» пролетел, изрыгая пули, как бомбы, и я услышал в ухе свист «зззззуиииииииии!» – это свистела смерть собственной персоной, смерть от руки лейтенанта Самуила Гольдштейна, моего ровесника, с которым у меня не было никаких разногласий (то есть официально разногласия, конечно, существовали, ведь он был марионеткой американского империализма), и я уверен, что у него тоже не было никаких недобрых чувств ни по отношению к товарищу Симону, ни к Микелю Че Женсане, которого он впопыхах принял за палестинскую ящерицу. Вот это был страх так страх, потому что на войне гораздо больше людей умирают за просто так, чем по той конкретной причине, из-за которой развязали войну. И этот бесконечный страшный миг на Курнет-эс-Сауда, который до сих пор мне снится, длился шесть с половиной секунд. Иногда я думаю, что человек – очень несчастное животное, потому что шесть с половиной секунд могут испортить тебе улыбку настолько, что и через двадцать пять лет заметны следы тех шести с половиной секунд.

На блюдечке лежала последняя оливка, Жулия изучала мое молчание. Я уже много лет столько не говорил и не смешивал в таком количестве свои собственные воспоминания с теми, что достались мне по наследству от дяди Маурисия.

– Теплый салат?

– Сеньору.

Толстошеий официант поставил тарелки на стол с таким облегчением, как будто решил серьезную проблему. Проблема, однако, состояла в том, что знания, полученные в университете Аль-Фаттах, предстояло применить на практике. Как всякий интерн, начинающий работать в больнице, доктор Симон вдруг обнаружил, что за поясом у него пистолет и на нем лежит ответственность за прикрытие демонстраций и за охрану дома в Вальдорейше[54], где происходило какое-то невероятное собрание бывших товарищей, одни

из которых были членами Партии, а другие – какими-то безумцами-маоистами, которые работали не покладая рук, хотя их раз-два и обчелся. А я сидел на дереве в качестве охранника, и мне было не страшно, потому что в небе над Вальдорейшем из-за Кольсеролы[55] не ожидалось появления никаких «скайхоков» на бреющем полете. Мимо проехал полицейский джип, но, к счастью, никто не увидел ничего подозрительного в том, что какая-то шантрапа в количестве трех человек решила полазить по деревьям в саду одного из частных домов.

А я все смотрел Голубоглазому в глаза и клял себя за беспроглядный идиотизм, от которого нет спасения. И сжимал в потной руке полагавшийся мне по уставу пистолет. И платки, закрывавшие нам пол-лица, отдаленно напоминали мне вестерны типа «Уэллс Фарго»[56].

– Всем стоять! Ни с места!

Работники банка послушались скорее интуитивно, чем из каких-либо других соображений.

– Всем лечь навзничь! – продолжал орать Голубоглазый, входя в кабинет директора и отсоединяя сигнализацию, вежливо беря на мушку управляющего и выводя его ко всем остальным.

Все присутствующие, как будто из фильмов им и так было ясно, что делать, улеглись лицом вниз и уставились в плиточный пол. Кроме одного клиента, который действительно лег навзничь.

Энергичным жестом Голубоглазый разделил нашу диверсионную группу надвое: Симон и Наталия – к кассе, с ненавистью в глазах и исступленными жестами, давай, давай, давай, деньги из кассы, давай; Кролик и кто там еще – к сейфу, с двумя мешками; а в середине высился Голубоглазый, как дирижер оркестра во всем своем великолепии, взирая на картину с высоты метр девяносто. Он припугнул какую-то даму, чтобы та не двигалась, и в негодовании направился к тому единственному клиенту, который его послушался:

– Я сказал, лицом вниз!

Теперь они друг друга поняли, и Голубоглазый с расстановкой пояснил двенадцати гражданам, находившимся в тот момент на территории банковского отделения «Ла Кайша» в Валькарке[57], что бояться им нечего и что это ограбление санкционировано вооруженными силами революционного народа.

– Санкционировано? – удивился все тот же умник, который знал, что такое «навзничь».

– Он хочет сказать – осуществлено, – объяснил товарищ Симон с пачкой купюр в руке – голова у него шла кругом.

И застыл на полуслове, во-первых, потому, что заговорил со свидетелем (первое правило, которое нельзя было нарушать во время экспроприации), но самое главное, потому, что тот, кому он ответил, учился с ним вместе в университете, дружил когда-то с девушкой по фамилии Гитерес, был членом Социалистической партии национального освобождения Каталонии, писал в газетах «Бой», «Борьба» и «Вперед» и время от времени спорил с ним о терминологии. Звали его Костас. Костас его не узнал, а узнал бы, так не преминул бы об этом сообщить. Симона замутило еще сильнее, к горлу подступила рвота. Но он смог сдержать тошноту до входной двери, через которую они выбежали как раз тогда, когда сработала сигнализация, включенная предателем и контрреволюционером управляющим.

Они пересчитали конфискованные деньги за три минуты. Миллион двести тысяч,

превосходно, никто не умер, и не пришлось стрелять, и вот они уже доехали до церкви Святого Иосифа, прислушиваясь украдкой, не гонится ли за ними машина с сиреной, а Франклин, во время ограбления ждавший их в машине с включенным зажиганием (обшарпанный «рено-дофин», лично им, при содействии Курносого, конфискованный в Оспиталете[58] за три часа до операции), говорил: «Не пойму, как это может быть, что так просто грабить банки?» И голос Симона, с заднего сиденья, отвечал ему: «Какое „просто“, я чуть не помер со страху». И все, кроме Голубоглазого, нервно рассмеялись, как будто только что напроказили во дворе религиозной школы. И когда они вышли из машины, чтобы рассеяться, оставив все деньги в руках Голубоглазого, он только и сказал им: «Молодцы, ребята, прекрасно поработали. Но если вдруг узнаю, что кто-нибудь собирается блевануть во время следующей операции, я так ему задам, что мало не покажется».

– Но…

– А нечего. – Взгляд Голубоглазого был холоден как лед. – Мы солдаты, Симон.

– Мы не давали клятвы не бояться.

– Спокойной ночи, товарищи.

А дело было средь бела дня. То есть грабить банки придется еще не раз, а нашу ячейку, судя по всему, перевели в отдел обеспечения Партии. И Микелю Женсане стало страшно, потому что, как и в Бейруте, его запросто могла убить шальная пуля, могла попасть в него даже рикошетом.

10

Всем этим семейным династиям, уходящим в далекое прошлое, с аристократической породой и изрядным количеством полотен, живописующих смену поколений, возможность выжить дает как раз постоянный приток чужой крови. И, Микель, это говорю тебе я, единственный настоящий отпрыск династии Женсана, которому царствовать так и не довелось. Это может показаться парадоксальным, но такие семьи, как наша, живы в той мере, в какой они смешиваются с другими. Если бы этого не было, они бы понемногу угасли, производя на свет особей с неправильным прикусом, с потерянным взглядом, медлительных, слюнявых, с замедленной реакцией, и выродились бы в конце концов в нечто такое, чему и имя дать невозможно, как те королевские семейства, которые во имя чистоты рода предпочитали веками самовоспроизводиться и дошли до того, что их отпрыски годятся лишь для журналов светской хроники, даже не для карточной колоды.

Купить полную версию книги

---

notes

Примечания

1

…ибо ничто, в сущности, не принадлежит нам, кроме прошлого *(англ.)*. Цитата из романа И. Во «Возвращение в Брайдсхед» приводится в переводе на русский И. Бернштейн. – *Здесь и далее примечания переводчика, кроме особо оговоренных.*

2

Прототипом города Фейшес в романах Жауме Кабре является каталонский город Тарраса, расположенный в 34 км от Барселоны.

3

Король Арагона, Валенсии, Сардинии и Корсики и граф Барселоны Мартин Арагонский (1356–1410), прозванный Старшим и Гуманным, был последним представителем Арагонского дома по легитимной мужской линии. После его смерти основная ветвь Арагонской династии угасла.

4

Федерико Момпоу (1893–1987) – испанский (каталонский) композитор, писал практически исключительно для фортепиано или фортепиано и голоса, разрабатывая испанские и каталонские фольклорные мотивы. – *Примеч. ред.*

5

Айзек (Исаак) *Стерн* (1920–2001) – американский скрипач еврейского происхождения, один из крупнейших и всемирно известных академических музыкантов XX в. – *Примеч. ред.*

6

Хуан Кризостомо де Арриáга (1806–1826) – испанский композитор, баск по национальности, часто именуемый «баскским Моцартом» или «испанским Моцартом» за раннее творческое начало и раннюю кончину. Творчество Арриаги находилось под влиянием современной ему французской и немецкой музыки, особенно Моцарта и Бетховена. Композитор умер в Париже от пневмонии или туберкулеза, не дожив десяти дней до своего двадцатилетия. – *Примеч. ред.*

7

Фрагмент из «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо с измененными именами и географическими названиями. Цитата дана в русском переводе, выполненном Д. А. Горбовым и М. Н. Розановым. – *Примеч. ред.*

8

Моя дорогая *(англ.)*.

9

Скорее всего, имеется в виду городок Эльс-Осталетс-де-Пьерола, расположенный примерно в 50 км от Барселоны.

10

Великий каталонский архитектор Антонио Гауди (1852–1926) в возрасте 73 лет был сбит трамваем по дороге в церковь и скончался через три дня после этого. Похоронен в Барселоне, в крипте строящегося по его проекту храма Святого Семейства (Саграда Фамилия).

11

«Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои – роком ведомый беглец – к берегам приплыл Лавинийским» *(лат.)*. Начальные строки поэмы Вергилия «Энеида» (пер. С. Ошерова под ред. Ф. Петровского).

12

Карлистами называют сторонников дона Карлоса Старшего (1788–1855), считавшего себя наследником престола после смерти Фердинанда VII (1784–1833; правил в марте – мае 1808 г. и в 1814–1833 гг.), хотя королевой была провозглашена малолетняя дочь Фердинанда Изабелла II (1830–1904), и потому развязавшего гражданскую войну. – *Примеч. ред.*

13

Династическая война в Испании 1846–1849 гг., в которой важную роль сыграл карлистский генерал Рамон Кабрера (1806–1877). – *Примеч. ред.*

14

Династическая война в Испании в 1872–1876 гг., вызванная стремлением сторонников правнука Карла IV (1748–1819; правил в 1788–1808 гг.) дона Карлоса Младшего (1848–1909) возвести его на престол. – *Примеч. ред.*

15

Имеется в виду один из братьев Тремульес-и-Роч, Мануэль (1715–1791) или Франсеск (1722–1773). Оба они были известными каталонскими художниками.

16

Инфант Карлос (1818–1861) – карлистский претендент на королевский престол Испании под именем Карла VI (1845–1861). – *Примеч. ред.*

17

Жуан Прим (1814–1870) – испанский военный и либеральный политик, сторонник королевы Изабеллы II, президент Совета министров Испании в 1869–1870 гг. Свою карьеру начал с участия в Первой карлистской войне (1833–1839). – *Примеч. ред.*

18

Город в Каталонии, в 65 км от Барселоны. – *Примеч. ред.*

19

Амадей I (1845–1890; король Испании в 1870–1873 гг.) – второй сын итальянского короля Виктора Эммануила II. Избран на испанский престол кортесами после продолжительного междуцарствия, в ходе которого испанское руководство искало кандидатуру нового короля за границей. В феврале 1873 г. Амадей, столкнувшись с социальным кризисом и началом Третьей карлистской войны, отрекся от престола. – *Примеч. ред.*

20

Жуан Марагаль (1860–1911) – один из самых значительных каталонских поэтов конца XIX – начала XX в.

21

Гражданская война в Испании продолжалась с 1936 по 1939 г. – *Примеч. ред.*

22

Маурций был недостоин *(лат.)*.

23

Какая жалость *(фр.)*.

24

Генри Мортон Стэнли (наст. имя Джон Роулендс; 1841–1904) – британский журналист, путешественник, исследователь Африки.

25

Льюис Мункуниль-и-Парельяда (1868–1931) – каталонский архитектор-модернист, в его творчестве прослеживается влияние таких значимых для испанского модернизма фигур, как Антонио Гауди и Льюис Доменек-и-Монтанер. Большинство спроектированных Мункунилем зданий находятся в каталонском городе Тарраса, который и является прототипом Фейшеса в романе Кабре. – *Примеч. ред.*

26

Джузеппе Томази ди Лампедуза (1896–1957) – итальянский писатель, автор романа «Леопард», по мотивам которого Лукино Висконти поставил одноименный фильм.

27

Филип Марлоу – частный детектив из Лос-Анджелеса, главный герой рассказов и романов американского писателя Реймонда Чандлера (1888–1959), многие из которых были экранизированы. В 1969 г. на экраны вышел фильм «Марлоу», экранизация романа Р. Чандлера «Младшая сестра», где детектив расследует исчезновение человека. – *Примеч. ред.*

28

«Янки, вон отсюда» *(англ.)*. Популярный в 1960-е гг. лозунг, адресованный американским войскам, размещенным на Кубе на базе в Гуантанамо. – *Примеч. ред.*

29

Юлия Стоянова Кристева (или Крыстева; р. 1941) – литературовед, лингвист, психоаналитик, писательница, семиотик, философ и оратор болгарского происхождения. – *Примеч. ред.*

30

Коротко и ясно *(фр.)*.

31

Жузеп Пла-и-Казадеваль (1897–1981) – каталонский журналист и писатель, работавший во Франции, в Италии, Англии, Германии и России.

32

Девять *(фр.)*.

33

Король Арагона, Валенсии, Сардинии и Корсики и граф Барселоны Мартин Арагонский (1356–1410), прозванный Старшим и Гуманным, был последним представителем Арагонского дома по легитимной мужской линии. После его смерти основная ветвь Арагонской династии угасла.

34

Игра в мяч *(фр.)*. Название парижского музея изобразительного искусства, расположенного в саду Тюильри. В 1947–1986 гг. в этом здании располагалась коллекция импрессионистов, которая затем была перевезена в музей Орсе.

35

О воплощении божественного слова *(лат.)*.

36

Ферран Сортс (1788–1839) – каталонский классический гитарист-виртуоз и композитор. По-русски его чаще называют на испанский манер – Фернандо Сор.

37

«Об истинной религии» *(лат.)*.

38

Так называется одна из улиц в городе Тарраса, послужившем прототипом для Фейшеса.

39

Жузеп-Мария Лопес-Пико́ (1886–1959) – каталонский поэт и издатель.

40

Доктор Фу Манчу́ – созданный английским писателем Саксом Ромером (1883–1959) литературный персонаж, криминальный гений, вроде профессора Мориарти или Фантомаса. Носил тонкие длинные усы, окаймлявшие подбородок. – *Примеч. ред.*

41

Виктор Вазарели (1906–1997) – французский художник, график и скульптор венгерского происхождения, ведущий представитель оп-арт, художественного течения второй половины XX в., использующего различные оптические иллюзии, основанные на особенностях восприятия плоских и пространственных фигур. – *Примеч. ред.*

42

«Налегке, почти обнаженным, как дети моря» *(исп.)*. Цитата из стихотворения «Портрет» испанского поэта Антонио Мачадо (1875–1939).

43

«Современное капиталистическое государство и стратегия вооруженной борьбы: группа Баадера-Майнхоф» *(фр.)*. Группа Андреаса Баадера и Ульрики Майнхоф, более известная как Фракция Красной Армии, или РАФ (Rote Armee Fraktion) – немецкая леворадикальная террористическая организация, действовавшая в ФРГ и Западном Берлине в 1968–1998 гг.

44

«Государство и революция» – работа Ленина, датированная 1917 г.

45

Сальвадор Эсприу (1913–1985) – каталонский поэт, прозаик и драматург.

46

Леон Фелипе (1884–1968) – испанский поэт. – *Примеч. ред.*

47

Пабло Неруда (1904–1973) – чилийский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе (1971). – *Примеч. ред.*

48

Эльс-Энкантатс (2745 м) – знаменитая двуглавая гора в провинции Льейда.

49

Аллюзия на стихотворение Сальвадора Эсприу «Набросок молитвы в храме», которое начинается строками:

О, как же я устал от жизни в этой
трусливой, закоснелой, дремучей стороне
и как же мне хотелось бы уехать
куда-нибудь на север,
где, как говорят, живут все в чистоте,
народ все благороден, просвещен, богат,
умен, свободен и счастлив!

(Пер. А. Горбовой). – Примеч. ред.

50

«Двадцать стихотворений о любви» *(исп.)*. «Двадцать стихотворений о любви и одна песнь отчаяния» – один из самых известных сборников чилийского поэта Пабло Неруды (1904–1973).

51

«Страстная неделя» – сборник стихов Сальвадора Эсприу, опубликованный в 1971 г.

52

Шатила – лагерь палестинских беженцев в Бейруте, существовавший с 1949 г. – *Примеч. ред.*

53

Пригнись, черт возьми! *(фр.)*

54

Маленький городок в Каталонии. – *Примеч. ред.*

55

Горная цепь в провинции Барселона. – *Примеч. ред.*

56

Фильм Фрэнка Ллойда, вышедший на экраны в 1937 г. – *Примеч. ред.*

57

Район Барселоны. – *Примеч. ред.*

58

Город в Каталонии, неподалеку от Барселоны. – *Примеч. ред.*